

П Е Т Е Р Ф Р Е Й Х Е Н

Приключения в Арктике

Перевод с английского Р. РАЙТ

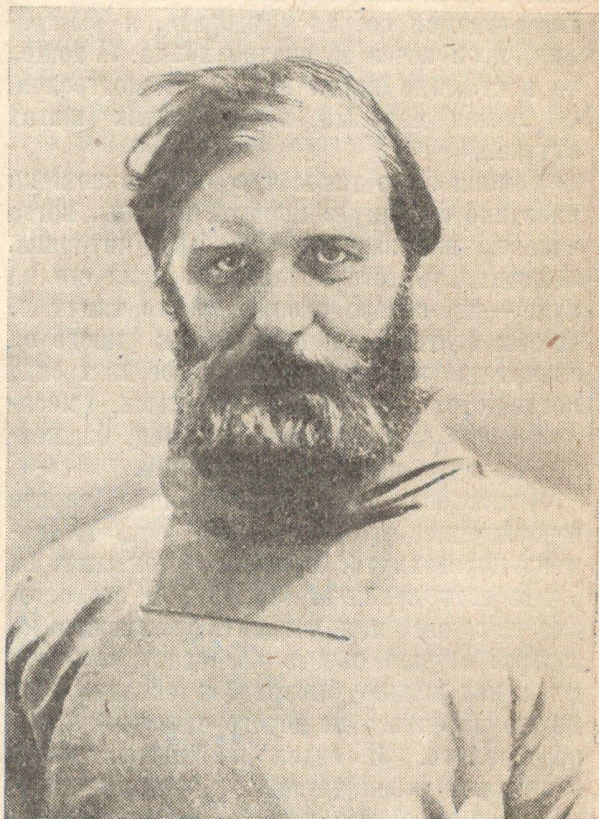
Весь день я тащил на себе сани, а теперь, когда ляжки уже не тянули меня назад, идти было легко: только ставить одну ногу впереди другой — и все. Сильный голод, должно быть, обостряет все другие чувства, и, хотя я двигался автоматически и устал так, что даже не мог присесть и отдохнуть, мой мозг работал с необычайной ясностью.

Это была моя первая весна в Гренландии — тысяча девятьсот седьмой год. Мы втроем — Гундаль, Ярнер и я — вышли с северо-востока Гренландии ознакомиться с местностью и собрать, если попадутся, разные образцы геологических пород. Мы решили тащить сани на себе. Так гораздо лучше изучать местность, чем сидя на санях, когда занят собаками и все время напряженно смотришь прямо вперед.

Еда и керосин были оставлены для нас в продовольственном депо, по дороге, но дойдя до него, мы увидели, что медведь побывал там раньше нас. Даже консервы пропали: зверь разгрыз жестянки и выел их дочиستا. Он обследовал и бидон с керосином, но, увидев, что керосин ему пригодиться не может, стукнул по бидону своей огромной лапичей и разбил его. Мы знали, что теперь нам не встретить ни мускусных быков, ни кроликов, ни куропаток. А медведь, посетивший нашу базу, конечно, дожидаться нас не стал.

Мы могли вернуться к другой базе, на островах Колдуэй, там хватило бы продовольствия для нас на несколько дней, пока мы будем изучать геологические фор-

Петер Фрейхен — известный датский полярник-путешественник, писатель и журналист; в 1937 г. путешествовал по Советской Арктике. Мы печатаем отрывки из книги Фрейхена о его жизни в Гренландии, вышедшей в Англии в 1936 г.



Петер Фрейхен

мации. Но даже, если бы мы смогли идти вдвое быстрее, чем собирались, мы все же потратили бы три дня, чтобы дойти до островов. Но пришлось идти. Другого выхода не было.

Продвигались мы медленно. Уже пять дней мы ничего не ели. Мы очень ослабели. Остановившись на ночлег, мы откололи от саней несколько щепок и развели огонь, чтобы растопить снег для питья. Мы молча поставили палатку: говорить было не о чем. Не стоило и пытаться забыть о нашем положении; нам было слишком скверно, — ни о чем другом мы не могли думать. Мы чувствовали себя та-

кими несчастными, что даже вид друг друга раздражал нас.

С горя я взял ружье и побрел. Я увидел следы кроликов, песка и куропаток, но ни одного живого существа не было заметно. Я перебирался с холма на холм, не хотелось возвращаться и смотреть в измученные глаза моих бедных спутников.

Наконец, я увидел кролика. Если бы я не был так страшно голоден, я вряд ли заметил бы его. Крохотный белый комочек мелькнул среди валунов. Не знакомый с человеком, кролик не обратил на меня никакого внимания и подпустил совсем близко. Когда он собрался удирать, я выстрелил, и он исчез за скатом холма. Я дошел до места, где видел его перед выстрелом. Он лежал мертвый, в нескольких шагах оттуда.

У меня было такое чувство, словно меня внезапно спасли из морской пучины, когда надежда на спасение уже была потеряна. Я поднял убитого кролика, взвесил его на руке — на севере кролики часто тянут до восьми фунтов — и понял, как много он значит для нас: чудесное жаркое на троих; после стольких дней — казалось, месяцев — голода испытать, наконец, блаженное чувство полного насыщения.

Я так ослабел, когда прошло первое возбуждение, что пришлось сесть на камень передохнуть. Я думал о том, как мы будем есть кролика. Съесть нам его сегодня целиком или оставить немножко на завтра? Лучше съесть все сразу, а потом итти как можно быстрее, к складу. Ведь можно надеяться по дороге еще что-нибудь подстрелить. Я сидел и строил планы один заманчивей другого, и все они исходили из того, что у меня есть кролик, а час тому назад его у меня не было.

Наконец я встал и пошел к нашей палатке. Кролик был тяжелый, он болтался на веревке у меня за плечами и мешал мне итти. Я думал, если мне его выпотрошить и бросить кишки, он станет много легче. Но за этой мыслью скрывалась другая: ведь можно будет съесть сырую печенку и сердце, не делаясь с моими двумя спутниками, которые лежат, ослабев от голода, в палатке. Мне стало стыдно своих предательских мыслей, и я пошел быстрее, но вскоре мне пришлось опять присесть отдохнуть, и тут искушение вернулось с удвоенной силой.

Ведь кролика убил я да еще ходил за ним так далеко, разве мне не причитается половина? Если бы я как следует поел,

разве я не стал бы сильнее и не смог бы работать больше всех? Но если я съем хоть кусочек, я, наверно, не смогу остановиться, пока не сожру всего кролика. А что если мне действительно съесть его? Ведь я могу не рассказывать Ярнеру и Гундалью, что я убил кролика.

Сидя на месте невозможно было противиться искушению. Я вскочил и снова зашагал.

Помню спорившие во мне голоса. Когда за плечами болтается восемь фунтов мяса, гложущий, мучительный голод становится в десять раз сильнее. Я начал петь, чтобы заглушить мысли, которые напечтывал мне желудок. Не то с пением, не то с плачем, борясь с искушением украсть еду у своих товарищей, я шел, едва передвигая ноги. И, падая на землю от усталости, я не мог думать ни о чем другом, кроме своего желудка.

Я говорил себе, что могу взять хотя бы ноги и пожевать их. И уж, конечно, никому не нужны уши, я могу съесть их тоже. В конце концов я решил съесть всего кролика, а потом признаться себе, что я не годен для исследования Арктики, и бросить это дело навсегда. Я стал спокойнее. Я сказал себе: «Вот только подожду до следующего перевала». Но когда я дошел до этого перевала, что-то заставило меня решить, что тут не место для еды, надо попытаться дойти до следующего.

Так, обманывая свой желудок каждый раз, я, наконец, дошел до вершины холма, с которого я мог разглядеть нашу палатку в долине — маленькое белое пятно у скалы. Там два товарища терпеливо и доверчиво ждали моего возвращения. Я почувствовал себя спасенным, но никогда в жизни мне не было так стыдно. Я уверен, что только вид палатки удержал меня от предательства, после которого я навсегда потерял бы всякое уважение к себе.

Я словно попал к родному берегу после опасностей неведомого моря, и силы вернулись ко мне. Ярнер и Гундаль увидели меня издали и приветствовали слабыми, но восторженными криками. Слезы подступали у меня к горлу, но я постарался скрыть их, пока мои друзья готовили еду. Наша палатка стояла на поляне, покрытой кассиопеей — прекрасным топливом, которое дает Арктика; это мелкое растение покрывает землю, как ковер, горит и в мокром и в сухом виде, а зола его сохраняет тепло двадцать четыре часа.

Ярнер и Гундаль хлопотали, как будто праздновали рождество. Я лежал в палатке, усталый и ослабевший, и каждый раз, когда я слышал, как они восхищенно хвалят мясо и говорят: «Фрейхену — самый лучший кусок, ведь это он нашел кролика и подстрелил его», мне казалось, что мне дают пощечину. Даже когда мы ели, я не мог так ликовать, как они.

Работа в Арктике ведется в условиях непрерывной борьбы за существование. И многое зависит от самого человека. Если он не отдает все лучшее, что в нем есть, он пропал, а его неудача может оказаться гибельной не только для него самого, но и для его товарищей.

Мне случалось слышать мнение, что арктические исследователи — неполноценные люди, непригодные для цивилизованного мира. Может быть про некоторых это и можно сказать, но во всяком случае от человека в Арктике нередко требуются твердость характера и железная воля. Я видел мужество многих исследователей и особенно многих эскимосов, спокойное мужество, которое не всегда найдешь в цивилизованном мире. Здесь же это — обычное явление. И еще я узнал, что человек никогда не должен идти в Арктику, пока не будет уверен в самом себе. Мне повезло: я во-время увидел палатку.

Я не особенно был уверен в себе, когда отправлялся в Арктику. Не настойчивое внутреннее влечение, не желание внести свою долю в изучение лица земли привели меня туда. В самом деле, когда я теперь оглядываюсь назад, я вижу, что был просто зеленым юнцом, которому надоела однообразная жизнь и который был очарован рассказами об арктических приключениях и героизме. Я ничего не знал о требованиях, которые ко мне предъявит Арктика. Все это пришло позднее.

Ребенком меня всегда влекло море. Мой родной город — город моряков, и все свое детство я провел на море. Мне подарили парусную лодку, когда мне исполнилось восемь лет, и если бы учителя стали искать тех, кто пропускал занятия, они, наверное, нашли бы меня в моей лодке.

Я интересовался только естественной историей, но она сулила незавидные перспективы в будущем. Такая исследовательская работа хороша для любителя или человека со средствами, а я знал, что мне придется самому пробивать себе дорогу в жизни. Но у меня было столько разнообразных интересов, — может быть, кому-

нибудь они казались поверхностными, — что я восставал против изучения всяческих прибыльных профессий, пока не наступил возраст, когда пришлось выбирать окончательно.

Так я попал на медицинский факультет Копенгагенского университета и стал одним из лучших студентов. Учение мое шло хорошо, преподаватели любили меня. Я прилежно занимался, и мои руки, покрытые когда-то мозолями, стали мягкими и белыми. Меня стали приглашать на вечера, я научился танцевать и превратился — по крайней мере внешне — в чрезвычайно приятного и респектабельного молодого человека, — каждый спокойно мог доверить свою дочь Петеру Фрейхену.

Надо полагать, что я был доволен своей судьбой, как любой средний юноша; и все-таки иногда я надевал свой старый костюм и переулками пробирался в порт поговорить со старыми друзьями.

Однажды, когда я работал в госпитале, случилось несчастье в доках, и жертву принесли к нам. Несколько минут думали, что человек мертв, но тут кто-то из стоявших рядом обнаружил, что он еще дышит. Бедняга был разбит и исковеркан до неузнаваемости, череп у него был проломлен, ребра перебиты и все связки разорваны. И все-таки его сердце слабо билось.

Все доктора уверяли, что ему никак не выжить. Они утверждали это с самого начала и продолжали настаивать на своем в течение тех месяцев, что он упрямо отказывался подтвердить их предсказания. Через шесть месяцев он был признан совершенно здоровым.

Все в один голос утверждали, что это настоящее чудо. Человеческое существо было воссоздано из трех ведер крови, мяса и костей. Со всей Европы съезжались хирурги посмотреть на больного. Его обсуждали, осматривали, фотографировали и оцупывали. Наконец доктора неохотно отпустили его на волю. Мы все смотрели, как он уходил. Мы все видели, как он оставил на углу и потом нерешительно стал переходить улицу. И мы все видели, как автомобиль — один из первых в Копенгагене — налетел на него и убил его на месте.

Бессильная ярость жгла меня. Я решил, что никогда не стану врачом и тогда же ушел из университета.

Как раз в это время начинались разведки по картографированию северо-западной части Гренландии, которая еще не была

исследована. Из Дании отправлялась большая экспедиция, финансировало ее государство и частные лица, а возглавлял ее Милиус-Эриксен. Я решил зачислиться в экспедицию.

★

Обычные задержки мешали отправке экспедиции, и во время этого тягостного ожидания меня послали в Южную Гренландию запасть продуктами и закупить собак.

Я высадился в Суккертопене — самой большой колонии Южной Гренландии, и сразу разочаровался в этом городке. Я увидел только привычные старые датские дома. Лишь позже я обнаружил жилища эскимосов; сначала их не замечаешь, потому что они врыты глубоко в землю, покрыты торфом и дерном и совершенно засыпаны снегом. Странно было видеть, как эскимосы высыпали из-под земли, словно человекообразные муравьи.

Я узнал, что один эскимос, до которого можно было добраться за несколько часов на лодке, имеет собак на продажу, и я нанял местного жителя — полуэскимоса, чтобы он доставил меня туда. Мы поехали в кожаном челноке. Море у Южной Гренландии не замерзает весь год, и в те годы все пользовались такими челноками; их зовут «женские лодки»: гребут на них только женщины. Для мужчины плыть в такой лодке — позор, если только он не рулевой или не пассажир.

Плыть в таких лодках — просто наслаждение. Они движутся, словно огромные чайки, по волнам, поднимаясь и опускаясь, и в них не попадает ни капли воды, разве только брызги с гребней волн. Но и брызги могли бы залить челнок, если бы не остроумное приспособление, придуманное эскимосами. Каждая кожаная лодка обычно окружена охотниками в каяках. Эти каяки — легкие «истребители», челнок — тяжелый транспорт. Мужчины небрежно сидят в каяках, пуская для забавы стрелы в птиц или пытаясь иногда метнуть гарпуном в тюленя. В открытом море каяки выстраиваются с наветренной стороны кожаной лодки и принимают брызги на себя. непромокаемая одежда полностью защищает мужчин, и вода им не страшна.

Во время шторма каякщик должен суметь, когда нужно, накрепить свой каяк и потом выпрямить его, чтобы защитить себя и свое крошечное суденышко от на-

тиска волн. Если гребец будет сидеть прямо и волна обрушится на него, она может сломать ему спинной хребет. Поэтому он должен уметь в нужную минуту накрепить лодку так, чтобы вся сила удара волны пришлась на ее борт.

Во время поездки за собаками я сидел на корме кожаного челнока и наблюдал за маневрами каяков с неподдельным восхищением. Но я не привык сидеть без дела, когда работают женщины, и настоял — к великому восторгу и мужчин и женщин, — чтобы мне дали весло. Но через час-другой я совершенно выдохся, такой темп держали эти женщины, и немного понадобилось уговоров, чтобы я сдал весло смущенной девушке, пытавшейся выучить меня гребти.

Выдержка и сила этих женщин поразительны. Они поют целый день во время гребли. Их песни — обычно импровизации на данный случай — поются на знакомые датские мотивы. Они смеются, шутят и болтают, когда гребут, и часто поддразнивают пассажира, не понимающего, о чем они говорят.

На нашей лодке было несколько пожилых женщин. Когда мы останавливались отдохнуть, молодой каякщик, лет пятнадцати, подгребал к самому борту нашего челнока и окликал свою мать, сидевшую на веслах. Она нагибалась через борт, подымала свою куртку и давала ему пососать грудь, как годовалому младенцу. Позже я узнал, что у эскимосов это обычная вещь. Младший ребенок продолжает сосать грудь много-много лет. Впоследствии я познакомился с одним молодым эскимосом, которого мать кормила, пока он не женился. Эскимосская женщина гордится этим, гордится своей молодостью и приятным сознанием, что у нее есть младенец, о котором надо заботиться, хотя бы этот младенец был взрослым мужчиной. Когда женщина перестает кормить ребенка, она считается старухой.

Мы плыли через фиорды и огибали высокие скалистые мысы. Нет более захватывающей картины, чем гренландский фиорд летом. Вокруг величественные снежных гор, а воздух кристально чист и спокоен, как смерть. Отвесные громады скал отражаются в широком зеркале воды, грандиозные пловучие айсберги на глади моря переливаются еле уловимыми оттенками. Пение девушек, веселый простодушный смех. Чувствуешь себя молодым, полным жизни.

Путь продолжался около тринадцати часов, и я был уверен, что девушки будут совершенно измучены. Однако, когда они услышали, что вечером в сарае заведующего постом устраиваются танцы, они завизжали от радости. Грести весь день напролет, а после протанцовать всю ночь напролет — вот настоящий отдых!

Одну из девушек я особенно приметил во время поездки. Ее звали Арнарак, и она была прелестна. Она сказала, что у нее есть специальная одежда для танцев, и я пошел провожать ее к дому отца. Он был знатный охотник, и меня приняли, как почетного гостя.

Девушка переделалась и увидела, что ей надо привести в порядок свои длинные чудесные волосы. Она распустила их, и прямые черные пряди спустились до полу под ее гребнем; я был потрясен. Солнце падало на них через окно, и они отливали темной синевой воронова крыла. Я был влюблен по уши, и мое сердце, сердце моряка, чуть не разорвалось от гордости, что именно я поведу ее на танцы.

Все пошло бы чудесно, если бы ей вдруг захотелось произвести неотразимое впечатление на белого юношу. Чтобы показать мне, какая она необычайно чистоплотная девица, она вытащила из-под скамьи большой чан с человеческой мочой, которую употребляют для дубления кож и для мытья. Она осторожно окунула свои чудесные волосы в чан и тщательно прополоскала их, а моя любовь остывала и восхищение мое спадало как прилив в Ламанше.

Когда мы дошли до сарая, мой пыл совсем прошел. Потом я немного оживился, но уже по-другому. Арнарак причесала волосы изысканным узлом, он качался над ее головой во время танцев. К несчастью, я был очень высок, а она совсем маленькая. Потолок в небольшом сарайчике был низок и я вынужден был нагибаться над ней во время танцев, что насильственно пробуждало во мне воспоминание, от которого я очень и очень хотел бы избавиться.

Эскимосы переняли танцы у своих датских властителей, и мы танцевали кадрили под аккордеон, на котором играл один из эскимосов. Он знал только несколько песен, слышанных им от датских матросов, приезжавших в Гренландию, но размах и пыл, с которым он обрабатывал хриплый инструмент, примирился с ограниченным репертуаром. Второй эскимос выкликал на-

звания танцев на своем языке, для меня это было тогда пустым звуком, и я был, в сущности, предоставлен на собственное усмотрение. Но я с успехом перемешивал фигуры из всех танцев. Потом я увидел в потолке крышку люка, ведущего на чердак. Я поднял ее и наконец-то смог до конца вечера танцевать выпрямившись, в центре круга, который образовали вокруг меня остальные танцоры. Конечно, радиус моих действий был несколько ограничен, и запах сырых кож с чердака соперничал с надушенными мочой косами моей партнерши, но я все-таки веселился ничуть не меньше, чем все остальные парни.

Чудесные гренландские дни!

★

...Наша экспедиция вышла из Копенгагена 24 июня 1907 года. Никогда ни один корабль не уходил из датского порта в такой суматохе. В последнюю минуту мы обнаружили, что у нас нет многих совершенно необходимых вещей, а так как у нас не хватало места даже для тех вещей, которые уже были погружены, то я хорошо понял, как не надо отправлять экспедицию.

После краткого пребывания в Исландии мы оставили цивилизацию позади и подошли к большим льдам между Гренландией и Шпицбергом. Первой нашей задачей было проникнуть в эти льды и подойти к не нанесенному на карту и тогда еще не исследованному берегу Северной Гренландии.

После долгих дней ожидания лед перед нами раскололся, и мы, прорезая его, дошли до восточного берега Гренландии, где мы были первыми белыми людьми, зашедшими так далеко на север. Мы обосновались тут лагерем на три года. Корабль должен был служить жилищем для большинства, но на всякий случай был выстроен и временный дом на четверых.

С нами было несколько человек, ставших впоследствии знаменитыми исследователями Арктики, и я подружился с некоторыми из них. Они научили меня многому. Один из них был доктор Альфред Вегенер, наш главный метеоролог. Я работал во время этой экспедиции его помощником и отвечал за службу погоды и за те ограниченные метеорологические наблюдения, какие мы пытались производить. Большая часть нашей работы теперь, когда оглядываешься назад, кажется просто ребячеством. Сейчас, когда есть радио и новей-

шие научные приборы, достаточно взглянуть на таблицу и будешь знать скорость ветра и погоду в любой точке земного шара. Но тогда мы записывали каждую смену погоды, малейшие отклонения барометра, чтобы изучить их в свободное время и сравнить с соответствующими сводками по другим местностям.

Доктор Вегенер был одним из выдающихся ученых своего времени, и специализировался он на инверсиях температуры, известных теперь каждому пилоту. Для установления этих инверсий мы ставили термографы на вершины скал, и я каждый день лазил туда снимать показания приборов. Мы выпускали змеи и шары-пилоты с приборами. Тогда наука бессознательно подготавливала дорогу для будущей аэронавигации.

На нашей обязанности лежала также организация двух-трех подстанций для наблюдений, согласованных с нашей центральной станцией. По многим причинам одна из этих станций должна была быть расположена как можно ближе к ледяному щиту — огромному леднику, покрывающему всю середину Гренландии. Меня назначили на эту станцию.

★

...Моя хижина, сложенная из камня и бревен, помещалась в узком ущелье, которое, мягко выражаясь, было довольно мрачным. В середине октября солнце зашло за горизонт и темнота обступила меня. Много дней я видел, как почти горизонтальные лучи солнца багровели на склонах скал, и целую неделю, взбираясь на вершину горы, я видел солнце. Когда, наконец, даже в полдень не стало солнца, арктическая ночь и волки стали моими единственными товарищами.

Никогда не надо оставлять человека одного в Арктике, если можно этого избежать. Сколько раз обстоятельства могут сложиться так, что одному человеку их не преодолеть, тогда как для двоих они почти не представляют затруднений.

Мне постоянно приходилось быть на-чеку из-за волков. Они съели по очереди всех моих собак — семь штук — и, наконец, до того обнаглели, что стали мешать подвозу продуктов. Сани высылались ко мне каждый месяц, но стаи волков нападали на путников, когда те останавливались на ночевку в палатках. Страшные вещи рассказывали мне погонщики собак, когда, наконец, они пробивались ко мне. Однаж-

ды ночью завязалась отчаянная борьба, и эскимос-гренландец выскочил из палатки, испугавшись, что собаки разорвут друг друга на части. Он схватил дубину и стал колотить по самой гуще дерущихся. К его изумлению, огромная дикая морда вдруг высунулась из клубка. Оказывается, он колотил огромного разъяренного волка, и этому эскимосу пришлось отбиваться от него дубинкой, пока не подоспела помощь.

Позже, когда на дороге не было видно ни зги, двое саней въехали прямо в стаю волков, и те сразу набросились на запряженных собак. Ездоки не рисковали пустить в ход оружие, так как ничего не видели, и волкам удалось вырвать трех собак из упряжки и ударить с ними. После этого волки нападали на все сани, какие пытались пробраться ко мне, а так как лед к тому времени взгромоздился опасными высокими торосами и дорога ухудшилась из-за сильного снегопада, то стало просто невозможно поддерживать связь между мной и кораблем.

Небольшой запас угля, который я привез с собой, — единственное, что мешало дому обрасти внутри льдом и совсем сомкнуться надо мной, — скоро окончился, и у меня остался только небольшой запас керосина для варки пищи. Печурка для угля только загромождала комнату, и я, наконец, со злобой выбросил ее вон.

В сущности, волки мучили меня гораздо больше, чем одиночество. Они стали для меня настоящим наводнением. Никогда в жизни я ничего так не боялся. После того как была убита моя последняя собака, меня уже ничто не предупреждало об их приближении, и часто я просыпался оттого, что волчьи лапы скребли по крыше моего домика. Я поймал трех песцов и двух волков самым необычным способом. Я поставил западню у себя на крыше, пропустил цепь, прикрепленную к западне, сквозь отверстие крыши в хижину и привязал поперечину к этому концу цепи так, чтобы она не выскочила. И когда волки приближались к хижине, привлеченные запахом моей стряпни и набрасывались на приманку в западне, я слышал страшный грохот: палка стучала о потолок, когда зверь метался по крыше, вырываясь на свободу. Мне оставалось только выйти и подстрелить его.

Но первый раз, когда я поймал волка, я не подумал подтянуть цепь, и, когда я высунул голову из прохода, зверь бросился на меня. Его зубы были слишком близко, чтоб

я оставался спокойным. Я знал, что мне не выйти, пока этот зверь сидит у меня на крыше, даже если б я взял ружье, потому что я не успел бы выползти из крытого прохода, обернуться и прицелиться: он тут же схватил бы меня за горло. Я присел и вытер холодный пот со лба; несколько минут я не мог придумать никакого выхода. Хорош охотник — попался в собственную ловушку. И вдруг я сообразил, что мне просто надо втащить несколько футов цепи внутрь хижины и укрепить ее, уменьшив радиус движений волка настолько, чтоб он не мог подойти к моей двери. План блестяще удался, и я убил волка. Но, пожалуй, это была слабая месть за моих погибших собак.

В сущности говоря, я не думаю, что вокруг меня было много волков: те два, которых я убил, были худые и загнанные и, наверно, выжили только благодаря нескольким мускусным быкам, которые попытались остаться тут на зимовку. А когда мускусные быки пропали, волки, очевидно, решили, судя по моей фигуре, что из меня выйдет вкусный обед. Я видел их следы повсюду и слышал тихий хруст снега под их лапами в темноте.

Зима шла, и моя неестественно бурная ненависть к волкам росла. Продуктов у меня становилось все меньше, а тьма и холод и постоянные лишения напрягали мои нервы все больше. Я вскакивал при малейшем шуме, и вой ветра населял все темные углы злыми духами.

Однажды, подымаясь по склону горы, я подошел к высокой скале, которая всегда служила мне вехой. Когда я огибал ее, волк, очевидно спавший за ней, вскочил на ноги и зевнул. Я так перепугался, что прыгнул в сторону с тропинки и слетел навзничь со скалы. К счастью для себя, я попал в снежный сугроб, но я просто чудом не убится насмерть или, по крайней мере, не сломал ногу и не остался на милость, — довольно сомнительную милость! — волков.

Но я обладаю «даром божьим», который я раньше не ценил и которого никто кроме меня так и не оценил. Я люблю петь. А голос у меня такой ужасающий, что ни одно живое существо, даже волк, не способно вынести его. И с того дня, как я сделал это открытие, я всегда выходил из дому, распевая во все горло. Я выходил на гору и спускался с нее и весело орал песни в снежной арктической ночи. Волки были побеждены. Они старались изо всей мо-

чи, но меня победить им было не под силу. Право, я могу честно утверждать, что заработал себе жизнь своим голосом, чему не поверил бы никто из знающих меня людей.

В конце концов, перед самым наступлением арктического рассвета, лед внутри моей хижины стал таким толстым, что я не мог даже вытянуться на нарах, служивших мне кроватью. Топлива у меня совершенно не осталось; я был в жалком состоянии и взбирался на гору каждый день в каком-то полусне, не похожем на действительность. В своей хижинке я дал имена всем вещам и часто ловил себя на том, что болтаю со своим чайником, с кастрюлями и сковородками.

День, когда я впервые увидел на юге узенькую пурпурную каемку на горизонте, был для меня чудесным днем, — я знал, что скоро солнце вернется. Никогда мне не забыть своей радости, когда вновь появились краски на небе. Многообразная красота северного сияния так опьяняла меня, что я мог часами стоять и смотреть, забывая даже о жгучем холоде.

А потом, после четырех месяцев тьмы и шести месяцев полного одиночества, одни сани, наконец, счастливо прорвались сквозь волчью заставу и привезли мне еду и топливо и, что было для меня так же важно, товарища, который должен был пробыть со мной недолгий срок, оставшийся до возвращения на базу.

Пока человек не прожил вдали от людей очень долго, он сам не знает, что говорит, когда заявляет: «я хочу уйти, остаться наедине со своими мыслями». Эти мысли могут стать удивительно бесплодными и непривлекательными. Просто блаженством показалось мне слышать голос другого человека; его жалобы на погоду, его рассказы о самых пустяковых вещах — все было лучше, чем молчание и мои разговоры с самим собой и пение для волков. Я знал, что если заговорю или задам вопрос, на него сразу последует ответ, и я цеплялся за товарища, как истосковавшийся в одиночестве пес.

★

...Мы с Кнудом¹ оставили дом на попечение эскимоски Виви и отправились врозь в глубь страны, чтобы дать знать эскимос-

¹ Кнуд Расмуссен — полярный исследователь, уроженец Гренландии, сын миссионера и полуэскимоски.

сам о себе и раздобыть мяса на зиму. Мы собирались также делать научные исследования и собирать различные экспонаты для наших музеев. Но так как финансирование научных экспедиций подчас бывает необычайно затруднительно, мы решили финансировать свою экспедицию, торгуя с местными жителями.

Во время этого путешествия я поставил себе задачу раздобыть несколько оленьих шкур. Так как лучший способ добыть их — самому подстрелить оленя, я пустился в путь на своих собаках в сопровождении чудесных стариков — мужа с женой — Асаюка и Анаврри.

Высоко, в Нунатаке, мы нашли старые, заброшенные хижины. Асаюк рассказал мне об отчаявшихся людях, которые бежали из родных мест и скрылись в горах, чтобы уйти от своего народа. Они стали духами, а может быть их захватили горные жители — эквидлиты. Он рассказал, что сам знал такого человека, — его свела с ума женщина.

Асаюк рассказывал, — а он славился тем, что никогда не врал, — будто, как это ни странно, бывают такие мужчины, которые любят только одну какую-нибудь женщину и не могут ее забыть целых семь лет. Один юноша взял девушку из ее родной семьи и поселился с ней у залива Ингфилд. Он сразу навлек на себя подозрение тем, что говорил о ней на охоте с другими мужчинами. Когда они ночевали вдали от дома и все спали вместе, он жалел, что не может быть дома со своей женой и даже без стеснения произносил ее имя несколько раз. Наконец некоторые почтенные охотники возмущались. Ведь всем известно, что человек, который так показывает свою зависимость от женщины, может обидеть тюленей, потому что тюлени не любят, чтобы за ними охотились небезупречные люди. Поэтому ему предложили сидеть дома, шить и чистить лампы или же пользоваться своим языком только для мужских разговоров.

Но бедный малый был неисправим. Както у знаменитого охотника умерла жена, оставив много детей без присмотра. И хотя охотник мог взять вдову, умеющую хорошо хозяйничать, он решил, что занятно будет отнять жену у этого молодого человека и поглядеть, посмеет ли он за нее драться.

Взбешенный молодой муж пытался всеми силами отнять жену, но ему не позволили убить великого охотника: слишком значительна была бы потеря для всего племени. Ему посоветовали применить силу

своих рук, использовать быстроту своих собак, чтоб отнять жену. Но вместо этого он только сидел на камне и в течение трех суток плакал, как ребенок. Даже его жена говорила другим женщинам, что он оставил свое достоинство в той палатке, где они жили вместе.

Когда юноша увидел, что она смеется над ним и ругает его за слабость, он решил уйти от своего народа; он ушел в глубь страны и стал «кивитоком» — духом, которому уж никогда не вернуться домой.

Его часто видели издали, но когда он начинал приближаться, все от него убегали. Много лет о нем ничего не было слышно, пока один охотник не зашел далеко в глубь страны, охотясь за оленем, и не нашел его труп в маленькой хижине.

Асаюк знал этого юношу и рассказывал мне, что он сам был тогда мальчишкой, но помнит, как другие мужчины дразнили этого чудака за то, что он не желал одалживать свою жену другим мужчинам или брать взаймы других жен.

Вот рассказ о человеке, который умер, потому что верил в одну и только в одну единственную женщину.

Я пошел взглянуть на убежище этого арктического Ромео и увидел, как убого было его траурное жилище. Оно было сделано из камня и дерна, и кости животных, разбросанные по полу, указывали на то, что он жил тут довольно долго. Асаюк рассказал мне, что его никто не хотел хоронить, и его череп долгие годы валялся на земле, пока кто-то из родных не сжалился и не опустил кости в могилу. Мы видели эту могилу: жестокая природа была тронута такой любовью и вырастила много пестрых цветов у каменной насыпи.

★

...Кнуд Расмуссен был настоящим художником во многих отношениях, и все его любили так, как редко кого любят. Он умел обделывать дела не только выгодно для нас: и тот, кто продавал, также был нам благодарен свыше всякой меры. Например Кнуду нужны были меховые сапоги. Вместо того чтобы пойти к кому-нибудь из эскимосов и просто узнать цену, он всем рассказывал, что ему нужны сапоги и осматривал обувь всех людей, приходивших к нам.

— Может, я дурак, — говорил он кому-нибудь из посетителей, — но я с детства люблю хорошую обувь. Кажется, ваша жена шьет неплохие сапоги. Если бы только

у вас были шкуры, я бы конечно попросил вас, чтобы вы ей велели шить мне пару сапог.

— Шкуры — у меня! — восклицал обиженный посетитель. — Да у меня уйма шкур, их столько, что девать некуда. Прямо не знаю, зачем моя жена дубит их летом, да никак ее не остановить!

Через несколько дней гордец являлся со своей женой и вынимал пару сапог. Кнуд внимательно осматривал их и потом огорченно говорил:

— Я вам очень благодарен за них. Я знаю, как вы хотите мне угодить, но я очень, очень прошу меня простить. Это хорошие сапоги, но все-таки они недостаточно хороши. Я заплачу за них, но уж не обижайтесь, если я не стану их носить.

Эскимос вскакивал на ноги:

— Ох, как смешно! Ох, как мы его обманули, — он подумал, что мы хотим продать ему эти сапоги! — Жена не вполне понимала, в чем тут соль, но, честно поддерживая главу семьи, тоже начинала смеяться.

— Да ведь это же просто два куска кожи, сметанные наспех, между делом, — продолжал эскимос. — Да вы не подумайте, что мы собирались вам дать такую вещь. Жена не знала вашего размера и сшила эти штуки, чтоб снять мерку.

Он снова захохотал, но в его веселости чувствовалось переигрывание. Потом супруги уходили домой, и наверно у мужа с женой было серьезное объяснение по поводу позора, который она навлекла на его семью. Она переделывала сапоги, и когда муж приносил их, то казалось, что подошвы срослись с голенищами. Стежков совершенно не было видно, и пальцы бедной женщины были исколоты в кровь от трудной работы.

Через несколько дней многие мужчины пришли со своими женами и принесли безукоризненные сапоги. Кнуд принял их подарки, и он так мило сумел это сделать, что все считали за честь, что он носит их сапоги. Если у него промокали ноги, они были безутешны.

А между тем мне было всегда страшно трудно достать сапоги, потому что у меня невероятно большие ноги. Женщины там никогда не снимают мерки: они просто смотрят на вас, идут домой и шьют сапоги. Если сапоги не годятся, ничего не поделаешь.

По их обычаю виноват во всем всегда бывает муж, он — глава и диктатор в до-

ме. Поэтому не принято пойти к женщине и заказать ей что-нибудь. Она принадлежит своему мужу и просить надо его. Если он согласится, она может выполнить ваш заказ, но не раньше того.

Может создаться впечатление, что бедные женщины угнетены. На самом деле это не так, но соблюдается строжайший этикет. Муж с женой — одно целое; муж — рупор, а жена — мозг семьи, неофициально, конечно. Если вы хотите заставить эскимоса что-нибудь сделать, самый правильный прием заинтересовать в этом сначала его жену, тогда можете быть уверены, что он все сделает.

★

...Старуха Итусарсук была одной из знатных женщин поселка, и все знали, какой она прекрасный человек — мягкий, добрый и скромный. И, зная ее, я просто был потрясен, услышав, что она когда-то убила четверых своих детей.

Давным-давно она жила на острове Герберта со своим первым мужем и детьми. Она перенесла ужасное испытание: на ее глазах утонул ее муж. Он плывал много часов подряд в своем челноке и заснул. Итусарсук видела его издали, но он был так далеко, что не мог услышать ее голоса. Вдруг в то время, как она смотрела на него, волна опрокинула его крошечный челнок. Она видела, как он бился в воде несколько минут и потом его подхватила волна. Она была одна и не могла спасти его. Она осталась одна с пятью детьми на руках.

Лето еще только начиналось, они еще не перевезли свою весеннюю добычу на остров, и еды было мало. На острове Герберта почти нет кайр; ей пришлось убить и съесть всех собак в надежде, что кто-нибудь придет на помощь. Однажды она видела мертвого кита, плывшего мимо острова, но не могла никак к нему добраться. В другой раз она видела двух медведей на льдине, а на далеком расстоянии мелькали каяки с других островов. Но между ними не было сородичей ее мужа, и никто к ней не подъехал.

Ей пришлось построить на зиму для себя жилье, и ей, как женщине, было это очень трудно. Дети плакали от холода, и, когда они на нее не смотрели, она тоже плакала. В конце концов они съели свою одежду, сделанную из шкур, и, когда больше ничего не осталось, она поняла, что надо прекратить страдания малышей, и по-

весила их. Самая старшая дочка, девочка лет двенадцати, помогла матери повесить младших. После того как троих прикончили, восьмилетний мальчик отказался идти на смерть. Он сказал, что умирать, должно быть, очень неприятно, судя по выражению глаз остальных детей. И он заявил, что сам будет о себе заботиться, пока не решит умереть.

Когда он убежал, девочка накинула себе петлю на шею и сказала, что наверно скоро она уже не будет такая голодная. Ее мать затянула ремень, и страдания девочки прекратились.

Силы бедной женщины совершенно иссякли, и она даже не могла плакать. Через некоторое время она сняла трупы детей и похоронила их. Рука девочки была поднята, и мать не могла согнуть ее и положить вдоль тела в могиле. Это показывало, что она никогда не принадлежала мужчине.

Мальчика звали Иггиангак. Он все лето питался травой и кроличьим пометом. Случайно он убивал молодых чаек, и они с матерью продержались до конца лета. Осенью, когда стал лед, Ангутидлуарсук, тогда еще молодой человек, приехал и забрал женщину в свой дом. Он никогда не бил ее: он понимал, что ей пришлось пережить тяжелые времена, когда призрак смерти стоял перед нею.

Вот что рассказали мне о старухе Итусарсук, и вот почему она никогда не наказывала детей, как бы они ни шалили, и заботилась обо всем подрастающем поколении поселка.

★

...Буря стихала. Хотя ветер на мысе Йорк на следующий день был еще свежий, опытные охотники уже знали, что на несколько миль в глубь страны погода будет хорошая, спокойная. Нагрузившись мясом для наших собак, мы продолжали наш путь в Тассиусак.

В то время мне казалось невысказанным и невозможным выезжать в бурю. Сани были полны снега, и подручным приходилось держать груз, пока его привязывали к саням. Трудно было заставить собак тронуться с места. Несчастные животные были слишком близко к земле, и буря сыпала им прямо в глаза колючий снег, от которого мы могли защитить свои лица. Но старик Асаюк взмахнул своим кнутом, и мы поехали, а через час вышли в затишье, где

нас, правда, встретило новое затруднение — темнота.

Пока едешь по старым дорогам, ты в безопасности, но нам приходилось искать новые пути, одновременно обходя слабый лед. Наш путь вначале шел почти прямо на восток, но звезды помогали нам мало. Лед все еще местами был тонок, и течение бросало его из стороны в сторону, так что нам приходилось постоянно сворачивать с пути. Мы пытались идти ближе к берегу, но иногда чистая вода ложилась между нами и темными скалами, поэтому наш мудрый проводник считал, что лучше держаться дальше от берега. Иногда две соседние льдины расходились на большое расстояние, и мы могли идти только вдоль разводья и ждать, пока обе льдины не сойдутся снова.

Я верил Асаюку и слепо шел за ним, но остальные трое считали, что они сами могут справиться, и настолько от нас отстали, что после того как мы перешли трещину, льдины разошлись прежде, чем те трое перебрались к нам, и мы оказались отрезанными. Однако никто из них не беспокоился: они были уверены, что вскоре мы соединимся.

Собаки быстро уставали: они не любят бежать по льду, не покрытому снегом. Соленый лед всегда влажен и покрыт слоем мокрой соли. Она разъедает лапы собак, и у них образуются язвы, с трудом поддающиеся заживлению. Кроме того собакам хотелось пить. Собаки не то, что люди: им было бы достаточно для утоления жажды слизнуть горсточку снега.

Прошло немного времени и даже Асаюк перестал понимать, где мы. Вдруг неожиданно прямо передо мной вырос айсберг, и мои головные собаки упали в воду. Айсберги в Арктике всегда окружены чистой водой или очень тонким льдом, даже в самую суровую зиму. Я перепугался и не решился броситься вперед на помощь собакам: лед меня бы не выдержал. А в это время исчез Асаюк. При помощи рукоятки моего гарпуна я зацепил постромки, но они так запутались, что просто невозможно было вытащить собак. Тогда я попробовал дернуть сани назад и, напрягая все силы, вытянул собак из воды.

Когда я убедился, что я в безопасности, я стал распутывать постромки. Ремни тюленьей кожи, побывав в воде, сразу смерзлились, и мне пришлось распутывать их голыми руками. Собаки, мокрые и дрожащие, все пытались взобраться со льда на

сани, и прошел почти час, пока я смог опять двинуться.

И я двинулся. Но куда итти?

Кнут замерз и не сгибался. Собаки беспокоились, потому что я был плохим ездоком, они не доверяли мне.

Не знаю сам, куда я шел, но я надеялся на инстинкт собак — в данном случае неосновательная надежда. Внезапно у меня сердце оборвалось: я почувствовал, как сани врезаются в лед и увидел, что левый полоз провалился сквозь лед. Когда я попытался сойти с саней, лед подломился у меня под ногой.

На молодом тонком льду человек беспомощен. Проваливаясь в трещину между толстыми льдинами, всегда можно обломать края льда, пока не доберешься до крепкого места, которое выдержит тяжесть тела. Но ничего нельзя поделаться, когда тонкий лед начинает поддаваться. Я попытался заставить собак итти вперед, но они не могли сдвинуть сани. Мне еще повезло, что у меня все — и сани и груз — не провалилось сразу. Вдруг я увидел, что и правый полоз провалился и что я сижу на санях, держащихся только на поперечине. Собаки измучились на тонком льду, а я не мог подойти к ним, не мог даже встать с саней.

Мне оставалось одно — ждать. Мои рукавицы и сапоги промокли, но я боялся пошевеливаться, чтоб согреться. Вокруг было темно и тихо, как в могиле, и я мог только сидеть на месте, надеясь, что через несколько часов лед настолько окрепнет, что сможет выдержать меня. Я не имел ни малейшего представления, где мои спутники, и, по правде сказать, в эту минуту мне это было безразлично. Наконец я так замерз, что осмелился, встал на свой груз, — не все ли равно, как умирать, — и начал размахивать руками и даже передвигать ноги. При каждом движении я чувствовал, как сани глубже врезаются в лед.

Я не имел понятия, как долго я простоял. Но, наконец, я не мог выдержать и решился на отчаянный поступок: высвободить собак, чтобы они спаслись, а самому при помощи гарпуна попытаться пройти по тонкому льду. Это было бы настоящим самоубийством, и спас меня от него протяжный далекий вой собаки. Я решил, что вот одна из собак других упряжек. В ответ я стал дергать и бить одну из своих собак, пока она не начала выть, а ее товарки из сочувствия подняли такой шум, что его

можно было услышать в ночной тишине за десятки миль. Я внимательно прислушался: через несколько минут послышался ответный вой.

Кровь быстрее стала пульсировать у меня в ногах и руках. Я почувствовал себя лучше. Хорошо было сознавать, что где-то недалеко находится другое человеческое существо, даже если мы не могли подойти друг к другу ближе. Снова я попробовал лед своим гарпуном, но лед проломился; если лед не может вынести тяжести гарпуна, он никак не выдержит человека.

Мне показалось, что прошло несколько часов, и вдруг я увидел крохотную вспышку в темноте — свет от спички. Но я не мог ответить. Я даже выругался, что не курю и не ношу с собой спичек. Я видел, как шесть спичек одна за другой вспыхивали и гасли, и каждый раз я только мог бить собаку, чтоб меня услышали. Но я не получал ответа — и сигналы прекратились. Больше всего на свете мне хотелось услышать чей-нибудь голос, но единственным звуком был треск льдин, когда течение сшибало их друг с другом, то самое течение, которое каждую минуту могло всех нас отправить к чертям.

Прошло еще несколько часов, и я почти потерял надежду, пробудившуюся при вспышках спичек. Моим единственным утешением было сознание, что другой человек в таком же положении, но это мало помогало.

И вдруг издалека я услышал крик. Я встал на ноги и закричал:

— На-а-уу! На-а-уу!

Я орал все громче и громче. Ничего... Потом вдруг я снова услышал голос. Очевидно, человек пытался мне что-то объяснить, но я плохо понимал по эскимосски, да и его голос тонул в шуме моря. Я снова сел. По временам я вставал и кричал, иногда получал ответ, иногда — нет.

Очевидно, он тоже по временам засыпал, как и я. Наконец мне показалось, что голос его звучит чуть громче, и я вопил, пока у меня не перехватило горло. У меня нехватало дыхания орать без перерыва, но я был так возбужден, что не мог заснуть.

Прошло еще несколько часов и, наконец, я услышал голос, кричавший мне, — голос моего друга, Асаюка:

— Я иду-у!

Как меня согрела эта весть! И все-таки прошло несколько часов, пока он подошел.

— На-ау! На-ау! — кричал я с перерывами.

Я знал по его ответам, что он постепенно подходит, и не мог понять, почему он не шел быстрее: я полагал, что он или идет пешком или едет на собаках. И все-таки много часов прошло, пока он одолел расстояние не более полумили.

Наконец он приблизился настолько, что мы могли разговаривать, и я понял причину: он был в том же положении, что и я. Я заорал:

— Так как же вы все-таки приближаетесь ко мне?

— Я дрейфую!

Значит судьба — и только судьба — приближала нас друг к другу. Мы слышали, как вокруг ломается лед, но мы не обращали внимания. Асаюк рассказал мне, что попал в воду, но не сильно промок. Потом мне показалось, что я его вижу, но, очевидно, я ошибся, так как он сказал мне, что не видит меня. Он попросил зажечь спичку, я ответил, что у меня их нет.

Тогда он решил пожертвовать последними своими спичками и дать мне возможность попробовать подойти к нему. Я должен был привязать ремень от моего гарпуна к ноге и таким образом иметь возможность вернуться к своим саням.

Все вышло, как мы рассчитали, и лед подо мной уже больше не трещал. Но я еще не видел Асаюка, когда натянул свой ремень до конца. Я привязал кнут к ремню гарпуна и, дойдя до конца его, смутно увидел собак старика и тогда решился бросить свой путеводный ремень и пробраться до него. Он уверил меня, что мы легко найдем мои следы к саням, потому что скоро наступит рассвет: это означало, что на юге, на горизонте, появится смутный красноватый отблеск, на фоне которого в течение нескольких часов можно будет различить силуэт человека.

Мы были счастливы, что отыскивали друг дружку, но у нас не было времени изливаться по этому поводу: надо было немедленно попытаться сойти с этого проклятого льда. Я помог старику высвободить полозья его саней. Мы сняли груз, разложили его на льду, как можно шире, и потом подняли сани. Затем мы опять нагрузили сани и погнали собак. Они промокли насквозь, страшно хотели пить и еле-еле ползли. Мы подъехали к моим саням, но не решились подойти близко, — лед не поз-

волял, — и мы двигались с величайшей осторожностью.

Во время работы мы вдруг увидели, как появился огромный айсберг и как будто поплыл мимо нас, хотя мы наверняка не знали, плыла ли гора или наша собственная льдина. По всей вероятности, мы сами плыли, потому что под водой находилось раз в восемь больше того, что мы видели над водой в виде айсберга, и, когда течение подхватывает айсберг, он еле движется. Однако, несмотря на такую неподвижность айсбергов, я видел, как они идут через тяжелые льды, как будто у них на пути вообще ничего нет. Потом они вдруг останавливаются и иногда годами стоят на одном месте. Айсберги — таинственная штука.

Наконец мы были готовы двинуться дальше, но опять-таки: куда итти? Асаюк пошел обследовать лед. Я вспомнил, насколько Пири доверял ему и надеялся на него, когда остальные проводники боялись за свою судьбу. Пири никогда не сдавался, и Асаюк, каким-то образом всегда умел помочь ему итти вперед.

К несчастью, сейчас он не мог этого сделать.

— Надо ждать, — сказал он, — а пока надо нам поесть мяса и мороженого медвежьего сала. — Сало было превкусное и придало нам бодрости.

Мы чувствовали, что дрейфуем. Асаюк заявил, что нельзя ожидать, чтобы мы надолго остались тут, и надо поставить сани на расстоянии друг от друга, чтобы не было слишком большого напора тяжести на одно место на льду.

Мудрый старик был знатоком естественной истории своего края. Ни одна тайна не была скрыта от него. Он объяснил мне, что соленый лед гибок и прочен, он может гнуться под санями и не проламываться. Иногда видишь, как лед гнется под упряжкой собак, волной вздымается между собаками и санями, и сани скользят вбок в образовавшемся корыте. Самая большая опасность — ехать так быстро, что полозья врезаются в лед.

Он рассказал мне также, что пока лед черен, на него надежда плохая, а как только побелеет, можно спокойно ему доверять. Поэтому опасно путешествовать в зимней темноте, потому что ездки не может различить цвет льда.

Сидя в ожидании, я сообразил, что провел около двадцати четырех часов на льди-

не. Я почти ничего не ел и не выпил ни глотка.

Наконец Асаюк сказал, что мы можем двигаться. Не знаю, что заставило его решиться. Но я чувствовал, что сойду с ума, если мы ничего не предпримем, а будем сидеть и ждать, пока океан не замерзнет.

Мы привели собак в порядок, и Асаюк настоял, что он пойдет вперед. Он шагал, легко и мягко ступая, осторожно нащупывая дорогу и то и дело пробуя лед своим копытом. Он шел, и я завидовал ему. У меня онемели ноги, но приходилось сидеть смиренно, следуя за ним на своей упряжке, и щелкать кнутом назад, чтоб его собаки не обогнали меня, стремясь догнать своего хозяина. Но тут Асаюк вернулся, прыгнул на свои сани и поехал прямо вперед. Я следовал за ним по пятам и, наконец, убедился, что лед стал гораздо крепче.

Асаюк не раз останавливался, но никогда не говорил мне, в чем дело. Он только улыбался, когда я его спрашивал, и снова ехал вперед. Вдруг я услышал, как он закричал на собак, останавливая их, и тут же я почувствовал, что мои собаки рвутся в упряжке. Быть может они почуяли какой-то запах — возможно, запах медведя, — а это было опасно. Если поблизости окажется медведь, собаки ринутся за ним, и никакая сила их не остановит. Не мы сдержали их рвение, а тяжесть саней, — они особенно тяжелы, когда лед не покрыт снегом, — умерила их пыл. И тут я увидел огромную скалу, надвигающуюся из тьмы.

— Что это? — крикнул я Асаюку.

— Да, что это за местность? — только и сказал он.

Но скала — нечто прочное, основательное, и мне она показалась особенно прекрасной.

К несчастью, между нами и берегом лежала широкая полоса чистой воды. Мы шли вдоль нее некоторое время, но потом Асаюк решил, что нам придется пройти к другому концу этого острова. Это Сагдлек, объяснил он, так эскимосы зовут остров Бушмана у северной оконечности бухты Мельвиля.

На другом конце острова, рассказывал Асаюк, есть пещера, где нас ожидают все удобства мира. Если бы только нам добраться туда, бы были бы спасены. Ветер поднялся снова, но, так как он дул с берега, я знал, что остров защитит нас от резких порывов, если мы приблизимся к берегу.

Наконец мы добрались до места, откуда была видна пещера. И тут мы увидели впереди людей — наших трех спутников, которые нашли пещеру и все время там отсиживались.

Мы все еще не могли к ним пробраться: вода стояла высоко, и широкая полоса отделяла нас от берега. Лед, в сущности, должен был пристать к берегу, но там собралось столько айсбергов, что образовался крепкий припай и мешал двигаться дальше.

Мы перекликались с нашими товарищами, и они рассказали нам, как им там удобно. Нам не оставалось ничего другого — только ждать отлива, а так как прилив еще не кончился, я понимал, что пройдет не меньше шести часов, пока мы сможем сойти на берег. Наши собаки были в ужасающем состоянии, выли и пытались влезть на сани, как только мы останавливались.

Асаюк попробовал сделать плот из льдин и переправиться на берег. Несколько часов мы потратили, чтобы вырубить сначала один кусок, потом другой. Когда мы ухитрились подвести второй кусок под первый, мы увидели, что он не выдержит саней, и нам пришлось вырубить третий кусок и подводить его под первые два. Наконец плот был готов, и на вид он был замечательный. Асаюк первый попробовал встать на него, и все его собаки прыгнули за ним. Конечно, они не сообразили, что надо им разместиться по всей льдине, и сбились в одном конце. От этого плот так накренился, что самая нижняя льдина выскользнула из-под него и выскочила, как пробка. За ней выскочила вторая, и Асаюк погрузился в воду вместе с барахтавшимися собаками. Мне, наконец, удалось его схватить, но тут он заметил, что пока мы старались построить плот, вода спала и можно было стоять на дне: вода доходила старику только до пояса. Собаки старались выплыть и обламывали лед. Словом, заварились невероятная каша.

Я промок насквозь. Асаюк стоял передо мной, и вода текла с него ручьями. И что хуже всего — его сани побывали в воде и груз снизу намок. Но старик родился на севере и мужественно встречал неудачи.

Вдруг в темноте показался человек. Это был Митсек, один из наших ребят. Он отыскал место, где лед доходил до самого берега во время отлива. Мы прошли туда и нашли отличный переход.

Мы забрались в пещеру и увидели там невероятный беспорядок. Даже огонь потух, а спичек не было. Мы решили сначала позаботиться о собаках, а потом уж о себе. Животные бешено набросились на снег и запутали свои постромки в немых узлы. Попытаться распутать двенадцать собак в полной тьме при полярном морозе — задача нелегкая.

Но, наконец, все было сделано, и мы смогли осмотреться. Трое наших ребят побывали в ужасных передрыгах. Они тоже потеряли друг друга и потратили все свои спички, пытаясь снова сойтись. В поисках наших саней они, к счастью, наткнулись в темноте на остров Сагдлек. Тут они провели первую ночь, а потом луна скрылась, и лед казался таким предательским, что они решили подождать, пока он окрепнет или мы объявимся. Тогда они смогут двинуться дальше или, по крайней мере, пойти бить медведя, чтобы не возвращаться домой с пустыми руками. Но мы, наконец, все оказались вместе и от души радовались нашей встрече.

Но что можно сделать в темной пещере, без огня? Добыть огонь можно разными способами, и мы выбрали самый простой. Мы вынули пулю из гильзы и высыпали порох: половину оставили, половину высыпали обратно. Из ящичков мы нарубили щепок, сложили их над высыпанным порохом, а потом разрядили холостой патрон прямо в порох на земле. Ослепительная вспышка — и щепки загорелись. Когда они разгорелись как следует, мы прибавили ворвани, которой у нас было много, и вскоре уже грелись у огня.

Асаюку пришлось снять мокрое платье перед огнем, а надеть ему было нечего: его спальный мешок тоже промок насквозь.

Я предложил ему свой, и он не смог отказать: слишком уж ему было плохо. Мы вдвинули сани в пещеру и втиснули его окоченевшее тело в мешок. Постепенно он отогрелся, мы ему дали горячего супу, и ему стало настолько лучше, что он даже закурил трубку, значит, все было в порядке.

В пещере было сухо и уютно. Снаружи ревел буран, но нас это не касалось. Собак мы крепко привязали, под ними пушистым ковром лежал снег, и они отлично обсыхали. Пока наши спутники нас ждали, они нарубили корм для собак, так что им должно было хватить по крайней мере дня на три.

Мы подбавили еще ворвани в огонь, и шипящее медвежье мясо, с толстым сочным слоем растопленного сала сверху, заставило нас забыть все наши горести. Когда мы поели, нам захотелось еще чего-нибудь повкуснее, и Асаюк предложил выпить чаю. Я наложил в чайник льду и подвесил его над огнем, и скоро пар повалил густой приветливой струей. Я прежде всего налил чашку Асаюку: ведь он был старейшим, почетнейшим среди нас. Кровь уже быстрее циркулировала в его ногах, и он чувствовал себя гораздо лучше.

Он отхлебнул глоток чаю, поперхнулся и возмущенно запротестовал. Я стал защищать свой способ заварки чая, но когда я сам его попробовал, пришлось признать, что вкус у него, действительно, несколько странный. Я обратился к трем нашим парням, и они объяснили, что у них не было котелка для варки мяса, и им пришлось воспользоваться чайником. Конечно, это не могло улучшить аромат чая, но, кроме того, Итукусунгак оставил перчатки, которыми он разбирал собачью еду, на крышке чайника, и один палец, здорово пропитанный тухлой ворванью, как-то попал в чайник. А я в темноте ничего не заметил. Асаюк рассвирепел и потребовал свежего чаю, но ребята стали его дразнить и говорить, чтоб он пил, что дают, или встал и сам себе заварил чай. Этого сделать он не мог по той простой причине, что был без штанов. Первую порцию все-таки выпили, а когда я стал полоскать чайник, чтобы заварить свежий чай, я нашел в нем, кроме перчатки, еще два куска собачьего корма. Это уж совсем не годится для чаю; по правде сказать, чай — тонкая штука: он любит только чистую воду. Вот кофе — это питье для старух: они столько болтают, что языки их не ощущают даже вкуса того, что они пьют. Если у вас плохая вода — сварите кофе да покрепче. Никто не заметит разницы. Но чай нельзя заваривать, если нет хорошей воды и чистого чайника.

★

Когда мы вышли из пещеры, нам не приходилось выбирать, куда идти. Надо было окончательно просушить вещи старого Асаюка, а ближайшим поселком был Сэвигсьют, на острове Метеоритов, том самом острове, откуда Роберт Пири привез знаменитые метеориты, которые служили эскимосам материалом для всяких ножей и орудий.

★

...На острове было всего три дома, и мы подошли к ним, когда все уже спали. Но слух эскимосов настороженно воспринимает всякий шум, и жители выбежали посмотреть, кто едет.

Когда прибываешь в любой поселок в Арктике, надо соблюдать известный ритуал. Гости уже издали, со льда, кричат:

— Сайнак сунай! Сайнак сунай! (Страшно рады и счастливы прибыть сюда).

— Ассукиак! Ассукиак! (И мы тоже!) — отвечают жители. Они сразу узнают, кто приехал. Это факт, что каждого знают по голосу. Сначала я очень терялся и злился, когда, встречая кого-нибудь, я получал в ответ: «Оанга» (это — я). И когда я повторял: «Да кто же вы такой?», «Оанга» — было все, чего я мог добиться. Эскимос ни за что не назовет себя по имени, и в краю, где четыре месяца в году стоит полная тьма, — а в гости ездят больше всего именно в это время, — трудно узнавать эскимосов по их голосам. Но скоро я этому выучился. Пришлось!

Мы прибыли в Сэвигсьют в чрезвычайно неудобный момент. Только что произошел обмен женами на ночь, и мужчины не могли решить, как им разойтись по своим домам и принять нас по-настоящему. Дело в том, что троем мужчинам поселка очень не повезло во время их последней охоты, и они приписали это тому, что какая-то из женщин обидела медведей. Поэтому, чтобы обмануть хитрых зверей, мужчины решили на одну ночь поменяться женами: тогда медведи не будут знать, от какого охотника им убежать.

Самый умный из жителей, Улугаток («человек с толстыми щеками»), наконец разрешил эту трудность: он объявил, что никто не пойдет спать, а всю ночь мы проведем вместе, пируя и распевая. Мы накормили своих собак и собрались в доме Улугатока — самом большом доме поселка. После того как хозяин убедил нас, что ему совершенно нечем нас угощать, он вдруг случайно вспомнил, что кто-то оставил кусок мяса около его дома. «Возможно, что мясо еще лежит там: мои собаки несколько раз отказывались даже попробовать его». И, конечно, это было такой отличной рекомендацией, что наше настроение сразу поднялось.

Немного погодя, Улугаток вернулся, и мы помогли ему втащить огромный кусок нарвалей кожи — маттака, самого вкусно-

го лакомства на севере. Этот кусок хранился около двух лет, и оттаивание с последующим замерзанием прекрасно его обработало: подкожный слой почти отстал от шкурки и жир стал зеленым, как трава.

Наклонившись над своей драгоценной пищей, Улугаток разрубил кожу пополам топором, а потом вырезал жир, — он пойдет на заправку ламп, — причем растягивал эту процедуру бесконечно, чтобы дать каждому возможность похвалить его и сказать, какое замечательное угощение он приготовил. Он жаловался на тупые ножи, останавливался и точил их, и, когда, наконец, он готов был начать раздел, он сел и посмотрел на всех со смущенной улыбкой.

— Как могу я предложить такую еду великому белому человеку? Лучше мне унести ее и попросить его поесть той великолепной пищи, которую он привез с собой из своей ослепительной страны!

Все стали уверять его, что никто в мире не будет больше доволен его угощением, чем я, и с несчастным выражением лица, как будто его ведут на электрический стул, он нарезал кожу кусками величиной в ладонь. Тем временем Асаюк сообщил мне, что Улугаток — знаменитость, душа общества, и что на приемах он славится своими изысканными манерами и считается настоящим светским львом. Я мог наблюдать его светские манеры и сказал ему, как я восхищен встречей с таким человеком здесь, на севере. Он хитро усмехнулся и сначала сам попробовал свое угощение.

— Я был прав! — воскликнул он. — У этой еды вкус собачьих нечистот и запахов мочи.

Пока он так рекомендовал еду, Асаюк залез на нары, чтобы снять штаны и сапоги, а женщины повесили сушить их над лампами. Мы, все остальные, навалились на еду, разложенную на полу. Она была восхитительна. Запах от нее шел замечательный, а пикантный вкус жира соблазнил бы каждого. Шкура нарвала выстлана толстым слоем мягкой кожи. Самая шкура, конечно, не съедобна, но ее можно резать на маленькие кусочки, чуть побольше куска сахару, и жевать. В общем, это необычайно укрепляющая еда, и ученые подтверждают, что на севере нет лучшего лекарства от цынги, чем маттак.

Мы ели доотвалу, рыгая, чтобы показать наше одобрение и, прикончив маттак, взялись за мороженое мясо под кожей. Мясо

нарвала надо есть сырым и замороженным, потому что, когда его сварить, оно распространяет сильный и очень неаппетитный запах. После того как мы поели, жена хозяина, чтобы поразить нас роскошью своего дома, в виде особого проявления внимания дала нам каждому по салфетке из птичьих шкурок, сделанной из старой рубахи хозяина. Когда мы вытерли руки и лицо, мы уселись поудобней и стали дожидаться концерта.

В Сэвигсюте жил Иггиангак, сын старухи Итусарсук. Я уже рассказывал, как он спасся, когда его сестер и братьев пришлось повесить. Он был малорослый, но сильный человек и слыл превосходным охотником. Он объяснил, что на самом деле он больше, чем кажется: он недорос оттого, что ел мало мяса в детстве. И поэтому он знает, что щенят надо с малых лет хорошо кормить, так, чтобы они стали большими, сильными псами. Потом они уже смогут терпеть всякие лишения.

Все знали, что Иггиангак — лучший певец в окрестностях, фактически даже единственный. Для арктических концертов, к несчастью, нужен «хор»: двое должны петь вместе. Иггиангак заявил, что он не в настроении петь и должен пойти распрячь своих собак. Однако он не двинулся с места, и мы возобновили наши упрямства. Я сказал, что его слава прекрасного музыканта дошла до самой бухты Норд-Стар, но он не шевельнулся, посмотрел на меня рыбьими глазами и спросил, неужто, по-моему, бухта Норд-Стар так далеко? Поняв свою ошибку, я сказал:

— Мне доставит громадное удовольствие послушать ваше пение.

Он ответил:— Петерсуак! Хоть вы и большой, высокий человек, но в нашей стране вы все равно, что новорожденный ребенок. Вы, очевидно, не знаете, что если человеку не хочется петь, то его нельзя заставить. И сегодня я не буду петь.

Разумеется, я решил, что это окончательный отказ, но Улугаток вытащил из-под нар бубен, натянул на нем кожу покрепче, полизав ее языком, и вручил ее отнекивавшемуся певцу. Иггиангак взял бубен и воскликнул:

— Ах, зачем вы мне даете эту штуку? Ведь я не умею петь! Разве для этого нужен бубен? Я совсем не знаю, как петь, я даже никогда и не пробовал.

Все его подбодряли: «Каа, Каа! (начинай). Дай нам хоть один раз послушать

настоящее хорошее пение. О, как мы счастливы, что такой знаменитый певец тут, среди нас».

У певца был растерянный и смущенный вид; потом он вдруг сообразил, что он не может петь один, и предложил Митсеку подтягивать ему. Митсек не желал отставать от своего сверстника-южанина, и потребовалось столько же времени, чтобы уговорить его. После бесконечных споров, кому играть на айауте, они, наконец, начали петь скромную песенку, не представлявшую совершенно ничего особенного.

Поет сначала только один из певцов и при этом танцует. Впрочем, трудно назвать это танцем: он не должен шевелить ногами. Он качается из стороны в сторону, потряхивая головой, подчеркивая ритм своей песни голосом и всем телом. По мере того как он поет, он все больше и больше возбуждается и постепенно забывает все окружающее. Против певца стоит его партнер, серьезный и неподвижный, держа айаут в обеих руках, дожидаясь своей очереди. Хор сидит вокруг певцов и постепенно вступает. Женщины тоже могут принимать участие, и вскоре все присутствующие подчиняются песне. Редко в песне поются слова, да и мелодии, с нашей точки зрения, нет; песня ведется на полутонах и четвертях тона, режущих неприятное ухо. Певец повторяет свой мотив много раз, постепенно забирая все выше и выше, пока песня не переходит в дикий визг. Все слушатели захвачены песней, и возбуждение достигает невероятных размеров. Зная это, певец всегда должен окончить песню так, чтобы рассмешить публику. Он наклоняется все ближе и ближе к своему партнеру, останавливает бубен или ускоряет темп, в то же время приглушая его, и партнер крепче сжимает свою маленькую палочку и, размахивая ею перед лицом певца, выжидает подходящую минуту. И, когда, певец уже почти кончает петь, партнер сжимает палочку обеими руками и, вращая ее над головой, подхватывает завывание:

— Эй! Эй! Ээй-эй-эй!— и певец орет ему в тон; когда силы уже совершенно иссякают, оба певца начинают хохотать, и вся публика хохочет так, что дом сотрясается.

Айаут — единственный эскимосский инструмент — сделан из моржовой кожи, натянутой на костяную раму, к которой приделана ручка. Ударяют больше по раме, чем по коже, а палочки сделаны, обычно,

из кости или из дерева. На бубне, собственно, только отбивают такт, но его низкий гул в маленьком помещении придает особую окраску всему представлению. Когда начинается пение, тушат все огни, кроме одной небольшой свечки. Оба певца стоят посредине, а вся публика сидит в темноте, качаясь из стороны в сторону, взад и вперед, загнипнотизированная пением и монотонным гулом бубна: бум-бум-бум!.. бум-бум-бум! — всегда три удара подряд, то сильнее, то слабее, в зависимости от пения.

Когда первый певец кончает, второй занимает его место и поет одну песню. Затем снова выходит первый и поет три песни, и второй — тоже три. Потом первый поет семь песен, и партнер повторяет их, и так до тех пор, пока они оба не выбьются окончательно из сил. Но тут уже кто-нибудь из публики доходит до такого возбуждения, что вскакивает на ноги, хватая бубен и вызывает кого-нибудь на соревнование. Оба снимают свои куртки — к этому времени уже в комнате жарко и душно и стоят голые; их стройные коричневые тела напряжены, и длинные волосы развеваются во все стороны. Через несколько часов у них даже пена выступает на губах, но никто не обращает на это внимания: все остальные возбуждены не меньше.

В такие минуты понимаешь какая сила кроется в этом народе, и, слушая эти арктические песни, я решил узнать как можно ближе тайны, скрытые в душах этих людей.

★

...На четвертый день после выхода из Сэвигсьюта мы были разбужены непривычным лаем собак. Эскимосские собаки лают только, когда чувствуют медведя, и тогда они издают звуки, похожие не то на вой, не то на лай. Они так свирепеют, когда чувствуют медведя, что их надо крепко привязывать во время ночевки в пути, иначе, если им случится учуять медведя ночью, то хозяин, проснувшись утром, своих собак не увидит.

Все три наши собачьи упряжки рвались на медведя, и оба мои спутника как на пружинах, выскочили из мешков, оделись, отпустили своих собак и полетели за ними. Я, торопясь изо всех сил, оделся тоже и побежал за ними; совсем близко я услышал визг собак, рев медведя и крики людей.

Когда я добежал до них, Митсек крикнул мне, что у него нехватает собак — стрелять в такой темноте было невозможно — и что ему придется бежать к стоянке за моими собаками и за своим копьем. Он помчался прочь, а я стал рядом с Итукусунгаком. Когда медведь вырывался от собак, мой спутник только шел за ним следом и выжидал. Вскоре прибежали все мои собаки и сразу ввязались в битву. Как только медведь пытался вырваться, несколько собак прыгало к нему на спину. Иногда он выворачивался ловко, как кошка, но никак не мог подмять под себя больше одной собаки, а остальные облепляли его, как муравьи. Конечно, он мог страшно искалечить эту собаку, но в это время остальные тридцать пять стали бы его рвать, кусать и трепать. Поэтому он отшвыривал собаку вверх и пытался как-нибудь защититься. Раз он подкинул моего вожака выше моей головы, и я думал, что пес разобьется насмерть, но он упал на землю, сжался в комок и, не медля ни секунды, налетел на медведя, чтоб отплатить ему как следует.

Оба брата — Митсек и Итукусунгак — решили, что им придется убить медведя копьем: только так его можно было прикончить, нечего было и думать о стрельбе в барахтающуюся грудку звериных тел. Итукусунгак предложил мне сделать первый удар. Я отказался: я дорожил своей жизнью и сказал, что бить должен опытный человек. Он бросился в гущу и ударил медведя копьем. До этой минуты медведь совсем не замечал нас и считал собак единственными своими противниками. Но тут он почувствовал копьё и увидел длинную рукоять, торчавшую из его зада.

У медведей «такой характер, что они не любят, когда у них в теле торчит копьё». Так говорят эскимосы, и хотя это слишком мягко сказано, но это верно. Наш медведь забыл о собаках и выдернул копьё целиком с ручкой из своего тела. Как он это сделал, почти непостижимо: рукоять копыя сделана так, что оно легко ломается и острие остается в теле. Но медведь вытащил его, и мы остались безоружными, так как ружьями мы не могли воспользоваться. Снова младший брат, Митсек, помчался к саням за другим копьем и за своими рукавицами, забытыми от волнения. Он вернулся моментально, и тут настала его очередь добить медведя, слегка ослабевшего от потери крови. Митсек ударил его прямо под ребро. Медведь, наконец, сдался: он упал,

потянув за собой всех тридцать шесть собак, рычащих над ним. Но они его изводили даже в его последние минуты, он поднял громадную лапу, чтоб стряхнуть их с себя. Но тут он перекувыркнулся, еще дальше загоня копы себе под ребра, и сразу издох.

Странно сказать, но собаки уважают павшего врага. Они опасны в пылу борьбы даже для своего хозяина, но в тот момент, как медведь побежден, они выпускают его, спокойно ложатся и ждут награды — свежего теплого мяса.

Только когда улегся пыл охоты, мы почувствовали, как мы замерзли и как мы еще больше замерзнем, пока будем обдирать медведя. Мороз доходил до 50° ниже нуля, и в темноте нелегкая работа — обдирать медведя, когда его белая шуба вся в снегу.

★

...Мы ехали без остановки и пришлось пройти довольно далеко, пока Итукусунгак не остановился и не заявил, что надо бы сделать привал. Мы привязали наших собак, как можно скорей вынули ножи и пилы и принялись за работу.

Наши собаки отдохнули, накопили сил и, когда мы двинулись дальше, они мчались по снегу, как ветер.

Через несколько дней собаки забыли о том, что отдохнули, и замедлили бег до обычного хода, очень неудобного для погонщика, если тот бежит рядом, потому что он не может ни бежать, ни итти, а ему приходится бежать два шага и итти один, бесконечно повторяя этот прием.

Внезапно наши собаки понюхали снег и свернули под прямым углом с пути. На полной скорости мы не могли повернуть их назад. Я вскочил в сани и еле умудрился не дать им перевернуться. Впереди я видел, как Итукусунгак бился, пытается сдерживать своих собак, и как, наконец, они стали его слушаться. Я поровнялся с ним, и мы втроем побежали впереди собак, размахивая кнутами, чтобы остановить их.

— Что это? — спросил я. — Медведь?

— Не знаем, — ответил Митсек, — но только это не медведь.

— Отчего же собаки так бесятся?

— Тут что-то, чего мы не можем сказать.

Я зажег спичку. Мы осмотрели снег и увидели впереди громадную рытвину, непохожую ни на какие следы, виденные мною раньше.

— Что это? — спросил я.

Ребята мои совсем растерялись. Митсек посоветовал лучше вернуться. Мы были не на своей земле, и, может быть, духи этого края оставляют такие следы, чтобы сбить неопытного путника.

Этого я не боялся. Вдруг Итукусунгак, самый старший из нас и человек бывалый, закричал не своим голосом:

— Паунгульяк! (это — бродяга!) Повезло нам в эту поездку. Это бродяга!

И, не объяснив мне, в чем дело, оба парня завизжали от радости, вскочили на сани и щелкнули кнутами. Мне оставалось только последовать за ними, что я и сделал, растерянный и даже слегка разозленный. Мне казалось, что они могли бы проявить немножко больше уважения к своему хозяину, вместо того чтобы провизжать какое-то непонятное слово и нестись вперед. Ведь они не могли знать, хочу я гнаться за этим неизвестным или нет.

Но много думать не приходилось: мои собаки неслись в темноте, и я должен был изо всех сил удерживаться в санях. Иногда я мог разглядеть след, по которому мы летели. Я не видел никаких следов лап, — только впадину, как будто тащили большую лодку с волочащимися веслами. Я заметил также, что эта штука не обходила никаких препятствий, а просто переваливала через ледяные торосы и сугробы. Я был совсем озадачен.

С большим усилием я догнал ребят и снова заорал:

— Что это? — Единственным ответом было:

— Это паунгульяк (бродяга!). — Но по их лицам я видел, что мы шли по следу чего-то восхитительнее золотых россыпей.

И вдруг я увидел «это» — огромную, черную гору, как будто без головы и хвоста. Собаки накинулись на нее, и нам пришлось согнать их кнутом. Я подошел и увидел огромного моржа, который, очевидно, шел прямо по льду, ища чистую воду.

Итукусунгак первый схватил ружье и прострелил зверю голову. Тот подох без сопротивления. Мы оказались владельцами почти полутора тонн мяса — необычайная, неожиданная добыча!

Прежде чем резать моржа, нужно было привязать собак. Это делается так: во льду вырубает две косые дыры, которые сходятся книзу. В них продевают ремни, упряжки закрепляют, и ни одна собака в мире не сорвется с такой привязи.

Погода была совершенно спокойная. Мы вынули наши плоские лампы с ворванью и устроили освещение, а потом приготовились резать моржа. Митсек вел себя очень странно, но было темно и холодно, и мне показалось, что он просто так выражает свою радость. Он отошел от моржа и стал ждать: «Нау, нау,—повторял он,—попешим, возьмемся за ножи, начинай, начинай».

Я не подозревал ловушки и вонзил свой нож в тушу. Дикая вопль и хохот приветствовали мой поступок. Митсек завопил, схватил меня за плечи и захохотал. Я все еще ничего не понимал, и, наконец, они мне все объяснили. Воткнув нож в тушу моржа, я тем самым становился вторым человеком, применившим к зверю оружие, а так как нас было всего трое, то мне причиталась самая маленькая порция. Первые два человека всегда берут переднюю часть, но тот, кто первый ранил зверя, получает голову и все внутренности. Третий человек получает всю заднюю часть, т. е. даже больше мяса, чем первый охотник. Теперь Митсек был третьим, и он просто захлебывался от удовольствия. Конечно, ни один эскимос не позволит, чтобы человек остался без мяса в таком путешествии, но собственность есть собственность и Митсек предвкушал удовольствие угощать меня своим мясом,—а это много значит для эскимоса.

Мы расположились на ночлег тут же, наелись мяса доотвалу, спрятали остальное и дали собакам досыта напиться крови из туши.

Итукусунгак сказал мне, что о таком «паунгульяке» мечтает каждый путешественник на собаках. «Паунгульяком» зовется морж, который по какой-либо причине задержался на льду. У моржей почти нет на плавниках когтей,—и они должны надеяться на свои тупые носы, чтобы пробивать лунки во льду. Они могут жить подо льдом только, если он так тонок, что можно его проломить. Зимой они держатся близ айсбергов, где лед всегда тонок, и полагаются на морское дно в отношении пищи. Но иногда они видят, что ледяная поверхность становится слишком плотной, и тогда они тяжеломерно перетаскивают свои громадные туши по льду к более удобному месту зимовки. У моржа изумительное чутье на открытую воду, но иногда он выбирает неверный путь, как, очевидно, случилось и с нашей добычей. Но какое

бы он направление ни выбрал—безразлично,—он всегда держится его и никакие препятствия его не сбивают с пути. Он переваливается через них, хотя такой способ передвижения над водой—ужасающе неудобен. Часто ему приходится останавливаться, чтобы выспаться, и холод, очевидно, его не очень смущает. И передние и задние лапы нашего зверя были здорово подморожены, а слой жира под кожей—необычайно тонок. Желудок у него был совершенно пустой—бедный морж наверно долго шел по своей последней дорожке.

Зверь был большой и очень нам пригодился. Мясо нам пришлось оставить, и мы не вполне были уверены, что медведь не съест его до нашего возвращения. Мы сложили его в кучу и посредине воткнули гарпун. К концу гарпуна мы привязали небольшой пучок сена, вынутого из наших сапог. Сено, развеиваясь по ветру, будет отпугивать лисиц от мяса.

★

...В поселке Сарфаке была необычайная суматоха. Появление приезжих в поселке из четырех или пяти домов—всегда событие волнующее, но мы еще приехали в особенный день. Соло объяснил нам, в чем дело, после того, как мы привязали собак:

— У нас—важные выборы. Король велел их провести сегодня, поэтому я не могу отложить их на завтра и принять вас, как подобает.

Это были первые выборы в датской Гренландии. По новому закону местные жители могли выбирать членов общинного совета. Они считали меня человеком большого ума, так как я умел читать, и Соло попросил меня помочь ему в его затруднении и проследить за выборами.

В Сарфаке—целых пять домов, он считается большим поселком и имеет право выбрать одного члена совета. Дальше, к северу, в Итуисалике и схожих с ним местах поселки объединялись обычно по четыре, и выбирали одного представителя. Так как Итуэ был самым могущественным человеком в округе, он без труда выдвинул своего брата Маркуса на этот пост. Однако перед более южным и поэтому более цивилизованным Сарфаком стояла другая задача, тем более, что выборы должны были быть тайными.

Охотники не совсем понимали, что требовалось от члена совета. Они знали только, что жалованья за это не платят, и что членам совета полагается только пятьде-

сят эре на обед, каждый месяц в день собраний. Так как приходилось тратить по несколько дней на поездку туда и назад, охотники совершенно естественно и благо-разумно рассудили, что они не могут тратить время на законодательство. Но король повелел, и кого-нибудь надо было избрать.

Однако в Сарфаке как раз был идеаль-ный кандидат на эту должность: звали его Абелят. Когда-то он был великим охотни-ком, но теперь стал стар и бесполезен. Колени его ослабели и глаза уж не раз-личали добычи. Иногда он мог подойти вплотную к тюленьим сетям и поймать тюленя, но в общем он сидел на шее у своих родственников, поэтому его подгото-вили стать членом совета.

У Абелята никаких данных и никакой склонности к политической деятельности не было, но его заставили их проявить. Его сын, Габа, выставил его кандидатуру; Габа думал, что хоть на несколько дней в месяц он сможет избавляться от стари-ка. Абелят плакал и сопротивлялся, но он отлично понимал, что тут ничего не поде-лаешь: он стал стар и слаб и должен был выполнять волю других.

И Абелята выставили кандидатом в со-вет. Чтобы избежать дальнейших недора-зумений, против него не выставили ни-кого; но было целых пять избирателей, кроме самого Абелята, и легко можно было предвидеть, какая начнется путаница, не-смотря на все; особенно раз нельзя было обойти ясно выраженную статью закона, по которой выборы должны были происхо-дить тайно.

Жилище Соло было самым большим и потому самым достойным столь исключи-тельной чести. Мы все етопнулись внутри и тщательно обыскали помещение, нет ли там заговорщиков, хотя что и кого там можно было спрятать — я так и не понял, потому что в жилище была одна единст-венная комната, без мебели, занавесей и альковов.

После того, как мы убедились, что все в порядке, мы вышли, и Соло, лучший охотник поселка и поэтому обладатель всех привилегий, собрался войти в помещение для тайного голосования. Тут встало не-предвиденное затруднение: закон ясно го-ворил, что избиратели должны написать имя своего кандидата на избирательном бюллетене, но только два человека могли это проделать. Я предложил такой выход: раз имеется только один кандидат, негра-мотные избиратели могут вместо его име-

ни поставить крестик на бюллетене, а я потом напишу под каждым крестиком имя «Абелят» и тем самым выполню закон.

Соло тщательно вытер руки и, взяв ко-робку со спичками, полез через вход в жилье, чтоб выполнить свой долг перед королем и страной. В доме он зажег свечу, заполнил карандашом приготовленную бу-мажку, задул свечу и вышел. Другие следо-вали за ним поодиночке, и все выходили на двор очень разгоряченные и взволнован-ные такой церемонией. Наконец, когда все уже выполнили свой долг, Соло повторил трижды громким голосом — тоже согласно велениям закона: — Кто еще желает голо-совать?

Так как больше, в сущности, никого и не было, Соло объявил выборы закончен-ными, и мы все вошли в дом, где прочли на бумажках два имени и три креста.

Абелят был избран единогласно!

★

...В нашем доме было три женщины: Виви, которую мы привезли с юга, Арна-ярк — пожилая женщина, и Алокисак, си-лачка, которая недавно потеряла мужа.

Арнаярк служила у Кнуда Расмуссена в первую зиму, которую он провел на севе-ре среди ее племени, и была ему безгра-нично предана. Ей, однако, трудно было соревноваться с Виви: та была крещена и потому страшно задирала нос. Как только Виви чувствовала себя вне общего разго-вора, она метила тем, что хваталась за свою книгу псалмов и орала о своей вере во всю силу легких. Она всегда произво-дила большое впечатление на эскимосов таким представлением, но на практике ее знания оказывались весьма отрывочными.

Однажды Кнуд Расмуссен попросил Ар-наярк сосчитать наши песцовые шкуры на чердаке. Виви подслушала, как он ее про-сил, и расхохоталась: «Да эти люди совсем не умеют считать. Они только знают счет до двадцати, а там шкурок гораздо больше!»

Кнуд назвал ее хвастуницей и велел пой-ти сосчитать шкурки. Виви пыталась отго-вориться, но он ее не отпускал. Она про-сидела несколько часов на чердаке, а потом спустилась вниз — просить бумагу и ка-рандаш. Еще через несколько часов она вернулась с бумажкой, настолько исписан-ной цифрами, что мы ничего не могли разобрать. Если б у нас было столько шку-рок, сколько она насчитала, — мы были бы миллионерами.

Кнуд посмотрел на цифры и потом попросил Арнаярк подняться и сосчитать. Она вернулась через полчаса.

— Там сейчас четыре кипы по десять шуб в каждой, — сообщила она, — потом там в одной кипе — три шубы, и шесть шкурков осталось.

Шуба — это десять песцовых шкурков, и неученая женщина сосчитала правильно: у нас было ровно четыреста тридцать шесть шкур.

Мы славно жили в нашем маленьком домике, и никогда уж не быть мне таким счастливым. Может быть, большинству людей показалось бы невыносимой такая изолированность, но я имел все, что мне было нужно — дружбу, доверие и деятельную жизнь. Мы не обманывали эскимосов, потому что они были нашими друзьями, и они приходили к нам со всеми своими нуждами. Нашей Арнаярк были поручены сношения с эскимосами — вернее, она сама себе их поручила. Виви стряпала; она была прекрасной поварихой и за это пользовалась большим уважением. Арнаярк выбрала себе место поближе к окну, так чтобы первой «вызывать посетителей и объявлять, кто идет».

Каждый житель поселка заходил к нам ежедневно. Когда человек не приходил, мы знали, что он ушел на охоту. Чужие приезжали издали — обмениваться товарами и рассказами.

Запасы в нашей лавке были ограничены — у нас было слишком мало денег. Но все местные жители были страшно довольны, что мы обосновались у них. «Вот теперь мы совсем как южане, — говорили они, — и у нас есть своя лавка». Некоторые даже не соглашались с нашими расценками: «Люди не станут ценить ваши вещи, если их можно купить за бесценок», — говорили нам эскимосы. А другие просто настаивали и платили больше, чем мы спрашивали, чтобы можно было потом похвастать стоимостью своей покупки.

Конечно, среди них были такие, которые ездили далеко на юг и видели настоящие лавки, за Тассиусаком. Они говорили, что если бы мы были настоящими купцами, у нас были бы весы для развешивания товаров. Разве в настоящих лавках не взвешивают все?

Кнуд никогда не терялся и сразу находил возражение критикам: «Видите ли, все наши товары были уже развешены до того, как их упаковали».

Мы видели, как уменьшается запас наших товаров и Арнаярк предупреждала нас: «Не продавайте слишком много. Не годится, чтобы у других людей было больше вещей, чем у нас. И как мы сможем хорошо жить, если мы будем менять наши драгоценные вещи на каких-то песцов, которых в горах сколько угодно и зимой и летом?» Конечно, с ее точки зрения это было вполне логично.

Алокисак была самой сильной женщиной, какую я когда либо видел. Я уже говорил, что она была вдовой и то, что случилось с ее мужем — самое необычайное из всего слышанного мною. Все это — совершенная правда, но я не знаю — поверят ли доктора моему рассказу.

Агпалек, ее муж, был уже старым человеком, когда купил свое первое в жизни ружье. Он пришел от ружья в такой ребяческий восторг, что раздобыл себе патроны самых разнообразных калибров «чтобы поддразнить ружье».

В один холодный осенний день он пошел охотиться на оленей. Он взял с собой двух мальчиков, чтобы нести назад мясо, — так он был уверен в своей удаче, и всю дорогу хвастал своим прекрасным ружьем. Насколько лучше иметь ружье, чем красться за оленем со стрелами и луком!

Они выследили двух оленей за проливом, и Агпалек был так уверен в своем оружии, что решил уложить их обоих одним выстрелом. Он тщательно зарядил ружье, а кроме того бросил небольшой патрончик в дуло. Олени как раз стояли один над другим, и он был уверен, что меньшая пуля пролетит выше и убьет верхнего оленя. Он велел мальчикам хорошо спрятаться, а сам пополз вперед, откуда удобнее было стрелять.

Наконец он нашел удобное местечко и поднял ружье к плечу. Как он спустился с курок — он не помнит. Ружье разрядилось с диким грохотом, разорвалось у него в руках и один осколок отлетел назад и разможжил ему левую лобную кость. Мальчики бросились к нему, думая, что он умер, но он стал биться, лопотать что-то как сумасшедший и реветь, как медведь. Они наклонились поближе и увидели, как мозг пульсирует в открытой ране.

Они не решились остаться с ним и пошли в поселок позвать на помощь, но там нашли только его жену и еще одну женщину. Алокисак, однако, взвалила себе на плечи тяжелую палатку и пошла к своему мужу. Я не знаю ни одного мужчи-

ны, способного на это,— только огромная сила Алокисак спасла их обоих.

Муж еще был жив и спросил, зачем она пришла. Он совершенно ничего не помнил. Алокисак натянула над ним палатку,— она не осмелилась двинуть его с места,— и они прожили там много дней, питаясь мясом, которое она принесла с собой. Когда пришли на помощь соседи — хоронить покойника, они застали его еще в живых, хотя ноги у него были отморожены и началась гангрена и, что самое удивительное, часть мозга вытекла у него из раны.

Это мне говорили и другие свидетели, не только Алокисак. Здешние люди хорошо знают анатомию и, конечно, сумеют отличить мозговое вещество, когда видят его. Они все уверяли меня, что вылилось не меньше чайной чашки, да они еще подчистили немного ложкой, после чего Алокисак зашила кожу над раной.

Агпалек поправлялся медленно, но стал почти совсем здоровым. После этого случая он стал не то что инвалидом, а просто человеком со странностями. Весь остаток своей жизни он мог то спать в течение целой недели, то бодрствовать столько же времени. Когда он спал, его невозможно было разбудить, и у соседей вошло в привычку заходить к нему в дом и брать все, что им было угодно — включая и его жену. Агпалек спал крепчайшим сном и никогда так и не узнал, какие штуки проделывали с ним.

Но, кроме того, он стал невыносимо неопрятен, пачкался и не обращал на это внимания. До этого несчастного случая он был чистоплотным, аккуратным человеком, а потом он вечно был измазан жиром или кровью,— чем попало. Руки у него были грязные, пальцы на ногах сгнили и наполнили дом едкой вонью. Он, однако, еще мог охотиться в своем каяке, потому что у него сохранились пятки и часть подошвы, и до самой смерти был полезен семье. После его смерти его жена пришла служить к нам и привела своего сына.

★

...Так называемая мена жен — очень интересный обычай у эскимосов. Многие считают, что это признак аморальности, но это безусловно неверно. Я никогда не встречал людей с более строгими правилами морали, хотя их мораль и отличается от морали белых людей.

Любовь эскимоса к своей жене совершенно отделена от его половых потребно-

стей. Если мужчине нужна женщина, и у него нет жены, он может взять на время жену другого человека. Но, с другой стороны, совершенно немислимая вещь для него — прийти к женщине и предложить ей пожить с ним, не спросив разрешения у ее мужа.

В мене жен охотник находит чисто практические и экономические выгоды. Если охотник отправляется на охоту один, ему приходится тратить очень много времени на постройку йглу, на рубку и растапливание льда. Ночью ему приходится возвращаться в холодную хижину и ему нечем сушить и дубить кожи. Вместо отдыха ему надо тратить вечера на починку и сушку платья, и он должен иметь с собой много запасной одежды. А если он берет с собой женщину — все совершенно меняется. Он строит ей йглу, а она заботится обо всем остальном. Его ждет по возвращении теплый дом и горячая еда. Его сапоги и рукавицы сухи, мягки и починены, так что ему не приходится таскать с собой много смен. Пока он охотится, женщина сушит кожи на рамке, внутри йглу, соскребает с них лишний жир и мясо так, что их легко сложить, и охотник может вернуться домой с тридцатью или сорока кожами вместо десяти сырых шкур, которые он только и смог бы тащить. Может быть это — самое большое преимущество, когда берешь с собой женщину; кроме того, она может ловить кроликов и заботиться о мясных запасах. Да, немало хорошего есть в женщине!

Но бывают такие случаи, когда человеку нужны шкуры, а жена не может поехать с ним на охоту: она может быть в это время больна или беременна или нянчит новорожденного. Насколько удобнее для него, если он оставит ее с приятелем на время отъезда, а сам взамен возьмет жену приятеля с собой на охоту!

Эскимосы считают, что животным человеческой породы можно доверять во всех отношениях, кроме отношений сексуальных. Мужчины и женщины могут быть преисполнены наилучших намерений в смысле воздержания, но когда страсть и желание овладевают ими — они беспомощны. Зная это, они не дают и не берут обещаний друг с друга, но устраивают свою жизнь так, чтоб их нельзя было осуждать за то, что они делают. Когда охотники приходят домой, женщины, бывшие с ними, радостно возвращаются к своим мужьям и те с удовольствием слушают их рассказы о путешествии.

Среди эскимосов я никогда не слышал вольных разговоров или неприличных рассказов, потому что все человеческое считается естественным, и полова я утонченность и извращенность никому тут незнакомы.

★

...После отъезда Кнуда мы узнали об ужасном несчастье, постигшем наших друзей, Пуалуну и Колугтиньяка.

В Сарфалике, где они жили, есть маленький ледничок, спускающийся прямо к морю, и с давних пор ребята катаются с него вниз. Море там никогда не замерзает, так как вокруг мыса очень сильное течение. Мальчикам и девочкам доставляет особенное удовольствие скатываться к самому краю ледника: девочки визжат от страха, а мальчишки гордятся своей силой и ловко поворачивают у края, избегая опасности в последнюю минуту.

У Колугтиньяка был чудесный сын, настоящий красавец-мальчишка, недавно убивший своего первого тюленя, — первый шаг к тому, чтоб стать мужчиной. Обе дочери Пуалуны достигли того возраста, когда девочки смотрят с возрастающим интересом на мальчиков. Семьи встретились в Сарфалике, после долгой разлуки, и ребята, которые были двоюродными братьями и сестрами, были в восторге друг от друга. Мальчик повел девочек на вершину горы и посадил их на свой «тобоган»¹ — тюленью кожу. Девочки приподняли кожу спереди, чтобы можно было держаться и стали съезжать с ледника раз за разом, — девочки визжали, а мальчик орал от восторга. Каждый раз они съезжали все ближе к краю, но родители стояли тут же и, вспоминая, как они детьми проделывали то же самое, не мешали им веселиться. Наоборот, они еще подзадоривали ребят и кричали: «Здорово! Здорово!», а мальчишка от этого входил в азарт все больше и больше.

И тут, на глазах у родителей, мальчик решил показать девочкам самый лучший трюк, и не поворачивать саней, пока не дойдет до самого края льда. То ли он заблудился, то ли потерял управление, — но трое ребят полетели в воду — и больше их никогда не видели.

Когда мы услышали об этом, все долго молчали, хотя такие несчастья нередко случаются в этом краю, где всегда живут



Летняя палатка из шкур

на волоске от несчастий и внезапной смерти. Кто-то наконец проговорил:

— Почему мы живем в таком углу мира, как наш край? Все мы знаем — это лучшая страна на свете и жизнь здесь прекраснее, чем где бы то ни было, но время от времени нам приходится расплачиваться за такую красоту. Старики сами хотели бы лучше умереть, лишь бы Великая Природа не была такой жадной до человеческих существ и не забирала наших детей.

Настоящее глубокое горе охватило всех. Семигак, старая женщина, сказала нам, что она ожидала какого-нибудь несчастья после того, как недавно ребенок родился на льду; все разговаривали во время родов и не сделали того, что полагается делать после, и Колугтиньяк помогал женщине вместо ее мужа. Кроме того новорожденный выпал прямо на лед, и ясно было, что такая вещь не могла пройти безнаказанной.

— Колугтиньяка давно предупреждали, — добавила старуха, — чтобы он не вмешивался в чужие дела.

Бедный Колугтиньяк! Он взял своих собак и, когда кончился положенный для траура срок, уехал.

— Я далеко еду, чтоб забыть свою горе, — сказал он. — Я почувствовал вчера ночью, что мне нет дела до остальных моих детей, и лучше мне уехать!

Через несколько месяцев мы узнали, что охотники за медведями видели его в бухте Мельвиля, а в следующем году он псежал далеко на юг и жил в Икерасарсуке. Некоторое время он прожил с пожилой никчемной женщиной, родившей ему ребенка. По слухам, ребенок был совсем черный и умер сразу после родов. Когда Ко

¹ Горные санки.

лугтиньяк наконец вернулся домой, и я упомянул об этой истории, он сказал, что ничему не удивляется.— Я был как в тумане все это время,— сказал он.— Может быть, дети были не только у одной этой женщины. Я бывал во многих местах, а женщин повсюду достаточно.

Эскимосы обычно соблюдают траур в течение пяти дней. Женщины сидели, покрыв головы меховыми штанами покойника, не засыпая, не ложась ни на минуту, чтобы ушедшие дети могли бы найти дорогу домой, если они вернуться. Дети не вернулись, и через пять дней я зашел навестить осиротевших родителей.

Алиналук, первая жена Пуалуны и мать двух погибших девочек, стояла над обрывом, где ее дети встретили смерть.

— Не жалейте меня,— сказала она.— Я не могу вынести жалости. Я родилась несчастной и слезы мои высохли. Говорите со мной, о чем хотите, но не жалейте меня.

Ее горе было трогательно, и все близкие старались ее утешить. Вторая жена Пуалуны плакала не переставая, как будто не могла понять, что дни траура кончились. В этот вечер Пуалуна пришел домой с тюленем, и дал мне кусок кожи на ремни. Он рассказал мне об охоте на мускусных быков и о том, как он потерял шесть собак. Потом он посмотрел на плачущую женщину и на ту, у которой высохли слезы. Он вздохнул и попросил меня быть снисходительным к его женщинам. «Они следуют своим женским привычкам, но я не в состоянии порицать их за это».— Только этими словами он и упомянул о случившемся.

В другом доме Торнге, жена Колугтиньяка, сидела и шила, когда я вошел.

— Вот пришел один человек навестить вас,— сказал я.

— О, кто-то пришел повидать своих знакомых? К несчастью, вы пришли неудачно: совершенно никого нет дома,— одни женщины, и лучше бы вы ушли, как можно скорее.

— Вы — одна?

— Свирепый ушел на охоту,— ответила она. Преданные жены всегда, говоря о своих мужьях, называют их «Свирепый», «Страшный», «Грозный» — и так далее, чтобы показать, какие у них устрашающие и внушительные мужья.

Торнге спросила, не хочу ли я чего-нибудь поесть. Я отказался, и мы сидели некоторое время молча. Потом она сказала:

«Никто не желает разговаривать в этом доме. Слов здесь не слышно, только слезы видны всегда. Это не может доставить удовольствия могучему человеку».

Когда я уходил, она сказала: «Благодарю вас за то, что вы пришли».— То, что я не мог сказать ни слова ей в утешение, доказало ей, как я сам огорчен и как я ей сочувствую.

После смерти своих дочерей, Алиналук никогда больше не улыбалась. У нее была еще одна малютка-дочь, которая только училась ходить, и через несколько недель она попросила свою свекровь присмотреть за ребенком, так как ей надо съездить в Иту, забрать кое-какие оставленные там вещи. Она взяла семь собак и уехала. Все знали, что она — отличный ездок, но она не вернулась. Через некоторое время вернулась одна из собак, та, которая считалась собственностью малютки. Потом говорили, что женщину забрали Люди Внутренней Страны, — таинственные и фантастические обитатели большого ледника. Эти люди, конечно, канадские индейцы, которые за много-много лет превратились в представлении эскимосов в какие-то мифические существа.

Пуалуна тщетно рыскала по окрестностям в поисках Алиналук. Может быть она съехала с ледника у мыса Александр прямо на дно морское, чтобы соединиться со своими детьми. Возможно, что малюткиной собаке удалось выскользнуть из упряжки прежде, чем ее с остальными погнали в воду, но эскимосы считали, что женщина послала собаку домой и этим дала знать, что ее увели. Никто не верил, что она утонула. Нет, ее наверное украли людоеды из земли Элмира, Люди Внутренней Страны или духи. И то, что ее дочка заплакала вечером того самого дня, когда мать ушла, было верным признаком, что женщину постигла страшная участь.

По обычаю племени, траур по Алиналук был запрещен. Если она не умерла, то это могло принести ей несчастье. Только маленькая девочка, Мактак, плакала и всегда была грустной. Конечно, может быть ее настроение зависело от обращения мачехи. Правда, мачеха была добрая, ласковая женщина, но она отнюдь не жалела, что в доме осталась только одна жена.

★

...Я собирался на остров Саундерса, в Уолстенхолмском проливе, где летом — хорошая охота на моржей и птиц. Кнуд дол-

жен был довести наш неуклюжий бот до воды на своих санях, а оттуда я хотел плыть к острову. Когда я грузил лодку, наш добрый приятель Улулик зашел спросить, куда я направляюсь. Я рассказал ему о своих планах, и он попросил меня захватить с собой связку тонких, небольших шкурок. Его дочка ждала ребенка, и он хотел послать ей эти шкурки для малыша. Его старая теща, Крули, нажевала эти шкурки там, на берегу.

Я спросил, как поживает старушка, и прибавил, что не видел ее уже несколько дней.

— А ее нет, — спокойно сказал Улулик, — мы ее оставили там.

— То-есть, как это — оставили там? — спросил я.

— Она осталась там — наловить побольше птиц за лето, и мы увидим ее будущей осенью, если она доживет. Она — очень жирная и вытерпит, если придется туго, а я даже оставил ей немного ворвани. Она может прекрасно жить в пещере.

Я был поражен. Как! Улулик, добрый, порядочный парень, оставил свою старую тещу умирать, если она не сможет справиться с непогодой, с диким зверем и голодом! Ее единственной защитой было то, что она была «очень жирная», когда ее видели в последний раз!

Я опять запряг своих собак и поехал за ней. Пока мы жили в этих краях, мы не могли допустить такого обращения со стариками, и я считал, что должен проучить виновных.

Лед вокруг мыса стал совсем скверным, и я то и дело падал в воду. Но несмотря на все трудности, я шел вперед и, наконец, добрался до льдины, на которой я собирался переправиться через широкую полосу воды, которая шла от мыса Атол далеко в море. Я греб палкой от гарпуна и прекрасно шел вперед, как вдруг подул легкий ветер и, несмотря на мои отчаянные усилия, я почувствовал, что меня несет в открытое море. Лед двигался не особенно быстро, но ветер дул, не переставая, и вокруг меня лед начал трещать и двигаться. Наконец я понял, что мое единственное спасение спокойно дрейфовать на льдине и надеяться, что меня прибьет к более прочному льду.

Собаки почуяли что-то неладное и сгрудились вокруг меня. Я позволил им взобраться на сани, чтобы спасти от воды их

ноющие лапы, и сам свернулся так, как не раз приходилось делать раньше.

В такие часы человеку остается сколько угодно свободного времени для воспоминаний о прошлой жизни, и как-то они кажутся реальнее, чем то, что происходит сейчас. Я просто сознавал, что вряд ли есть один шанс из тысячи на спасение и у меня было достаточно времени привыкнуть к этой мысли.

Течение усиливалось и я почти без всякого интереса, машинально следил с моего маленького пловучего острова за тем, что делалось кругом. Вокруг меня, в воде, копошились тысячи птиц — те самые кайры, что днем так весело шумели на скалах. Сейчас была ночь, и я заметил, что оживление ни на минуту не покидает этих маленьких птиц. Они ныряли и снова выплывали. Я смотрел, как они плывут под водой и ловят черных морских червей. Они играли и дрались, пока не настало время лететь к берегу. Я завидовал их крыльям: мне приходилось сидеть и ждать голодной смерти, или тонуть.

Около меня играли тюлени. Один огромный усач выскочил прямо на мою льдину. Я заорал на него и сначала он совершенно окаменел от непривычного голоса, но из любопытства остался. Скоро он привык ко мне и обнаружил, что не всякий звук убивает. Когда он все-таки уплыл, я почувствовал себя еще более одиноким.

Утро не внесло в мое положение ничего нового. Я даже не мог следить за дрейфом, потому что небольшая льдина, на которой стояли мои сани, осталась единственным местом, на котором можно было удержаться. Мне приходилось сидеть и ждать, а это было много хуже, чем если бы я мог бороться со своей судьбой. Как-то особенно жутко сидеть спокойно на солнышке, слушать пенье птиц и знать, что сидишь и ожидаешь смерти.

Через некоторое время я мог определить, что моя льдина движется все южнее, южнее и дальше от берега. Я поймал две точки на берегу, на одной линии, и по ним, наконец, определил свой дрейф. Я заметил также, что моя льдина медленно вращается, незаметно стачиваясь по краям от столкновений с мелкими глыбами льда.

Я ни на минуту не переставал наблюдать. Я был уверен, что погибну, но надежда никогда окончательно не покидает человека. Я следил за положением льдины. И мои нервы были напряжены точь-в-точь

как при решении трудной математической задачи. Я убеждал себя, что надо заснуть, пока я не окажусь у следующего мыса, и там попробовать свое счастье. Но спать я не мог. Лыдина подходила к мысу все ближе и ближе, и я видел, как лед, плывущий передо мной, налетал на скалу и рассыпался на миллионы кусков. Вот что ждало меня. Но моя лыдина не разбилась о скалы, а проскользнула мимо.

Прошло два бесконечных дня и страх уступил место голоду. Чем дальше на юг меня гнало, тем больше я надеялся на возможность пристать на островке, у Конической скалы. Если там будет чистая вода и ветер стихнет, я попробую вылезти из саней и заставить собак плыть к берегу, таща меня на буксире. Я слышал о таком способе и, во всяком случае, попробовать стоило. Но тут подошел прилив и остановил мое продвижение. И я сидел на льдине, которая медленно-медленно кружилась, не останавливаясь ни на минуту.

Тут я, очевидно, заснул, потому что ничего не помнил, пока не поднял голову и не увидел напротив Коническую скалу. Но подойти к ней было немислимо: между мной и берегом была густая каша ледяных осколков.

Меня гнало на юг, все время на юг. И хотя я очень ослабел, голова у меня была ясная и зрение не сдавало. И все-таки не я первый увидел своих спасителей.

Я сидел, уставившись на море, и вдруг заметил, что мои собаки наострили уши и смотрят на берег. Я даже боялся взглянуть, на что они смотрят: столько разочарований я уже пережил, — но все-таки посмотрел и недалеко от себя увидел двух охотников, стоявших на льду рядом с санями. А я то думал, что не спускал глаз с берега и наверное заметил бы всякий признак жизни задолго до того, как подошел так близко.

Но люди были тут. Я уже ясно видел их: охотники за тюленями стояли на кромке льда, а в воде плавали их каяки. Я был спасен.

После я не мог понять — отчего я не закричал от радости? Думаю, что в глубине души я был уверен, что мне еще не пришло время умирать. Поэтому я только поднял руки в знак того, что я вижу этих людей и они ответили мне таким же приветствием.

Я сел и стал ждать пока течение подго-

нит меня к ним поближе, а они продолжали охоту. Возможно, что я тогда был невменяем, но весь мой интерес сосредоточился на их успехах и неудачах. Я страшно радовался, когда пуля попадала в тюленя и испытывал разочарование, когда зверь тонул там, где гарпуны охотников не могли его достать.

Охотники эти были — Кидлугток и Итукусунгак, тот самый, что сопровождал меня в Тассиуссак.

Они обосновались в Агпате, где было много тюленей и птиц, т. е. и мясо и яйца. Как будто по уговору, ледяная каша вокруг меня расступилась и чистая вода легла между мной и охотниками. Итукусунгак подгрел в своем каяке, привязал ремни своих гарпунов к моему гарпуну и к моим постромкам, и отплыл назад. Тогда я прорубил два отверстия в моей льдине, закрепил ремни, и охотник подтащил меня и моих собак к крепкому льду.

Оба поздоровались со мной, но не проявили особого волнения и занялись распутыванием постромков на моих санях.

— Куда вы направляетесь? — спросил Итукусунгак, как будто это был мой обычный способ передвижения.

— Бывает, что человек сбивается с дороги, — ответил я. Такое объяснение их вполне удовлетворило.

Потом они сказали, что не хотели спрашивать, в чем дело, боясь, что кто-нибудь умер. Мое приключение показалось им несколько рискованным. Они отвезли меня к себе домой и накормили вареными птицами и сушеным мясом.

Когда они узнали, что я выехал из Туле в поисках старухи, — их веселью не было конца, и мое путешествие стало известно всем, как самое смешное приключение, о котором когда-либо слышали эскимосы. Обе молодые жены спросили, неужели правда, что я еду за старухой Крули, и когда я уверил их, что это так, они стали снова хохотать и уверять, что старушка, наверно, очень обрадуется. Но по выражению их лиц я понимал, что они меня считают дураком: рисковать жизнью из-за какой-то старухи!

Я уехал от них на следующее утро и продолжал путь уже по суше, даже когда приходилось пересекать ледниковые языки. Я поймал трех тюленей, запрятал их у бухты Паркера, затем снова поднялся по леднику, оставил свои сани у самого ледяного поля, и спустился к старой Крули,

занятой своей охотой. Маленькие кайры кишели, как пчелы в улье, пачкая наше платье пометом.

Старуха решила, что я просто заехал ее навестить, а когда я ей велел готовиться к отъезду домой, у нее был такой вид, как будто ее спасли из могилы. Ее радость была неподдельна, как радость ребенка, получившего новую игрушку, и она прыгала, хлопала морщинистыми руками и пела песню солнцу о тех людях, которых она снова увидит.

Бедная Крули! Она только и думала о своих маленьких внучатах и воображала, что они так же будут радоваться встрече, как она.

Ей почти нечего было с собой брать. «Моя кастрюля!» — восклицала она, хватая пустую консервную банку. «И ведро!» — такая же банка, но чуть побольше. «А чайник-то!» — и она забирала банку из-под сгущенного молока.

Ее одеяла были даже еще скромнее. На оленьих шкурах не осталось ни одного волоска, и, видно, прошло немало лет с тех пор, как эти шкуры покрывали живого зверя. Но с одной драгоценностью она никогда не расставалась: с настоящей эмалированной кружкой, которую ей подарил Кнуд. Она носила ее на ремешке вокруг шеи и иногда ласково проводила сморщенными пальцами по синему ободку, и глаза ее блестели, когда она смотрела на кружку.

Вдруг она вспомнила, что ей еще нельзя ехать. Нет, нет, никак нельзя!

— Почему же? Чего нам еще ждать? — спросил я.

— Видишь ли, Улулик оставил мне три тюленьи шкуры для набивки. Я уже набила одну, и еще половину и, пожалуй, надо докончить вторую, прежде чем я поеду домой. Ты — молодой и сильный, и если возьмешь сетку, то сделаешь это скорее меня.

У нее не было сил протащить мешки, когда они уже были набиты. Поэтому она заранее заложила их в тайники, и бегала взад и вперед с парой-другой пойманных птиц, и каждый раз должна была снимать с тайника камни: мешки нельзя оставлять на солнце, иначе весь вкус птиц пропадет.

Я не мог отказать ей в этом. Я забыл о своих собаках. Я забыл, что я устал и мне хочется поскорее домой. Я просидел там целый день и ловил маленьких кайр для человека, который оставил мать своей

жены почти на верную смерть и заказал ей напоследок перед смертью набить три мешка «гивиаком», чтоб он мог устраивать шикарные приемы зимой.

Мы остались ночевать, и утром у нас оказался такой груз, что мы с большим трудом дотащили его до саней. Я предложил ей бросить хотя бы консервные банки, но она отказалась. Это было все ее имущество. Она страдала бессонницей и приятно было иметь собственную посудину, чтоб сварить немножко еды для старческого желудка, пока другие спят.

Я пообещал дать ей другие кастрюльки.

— Ах, как я счастлива! — воскликнула она. — Когда ты мне дашь новую кастрюлю, я смогу послать ее в подарок моей старшей внучке, которая ждет ребенка!

Она рассказывала, о чем она думала, пока сидела одна. Раза два-три она всплакнула — просто для препровождения времени, но ни одним плохим словом она не обмолвилась о зяте или о его жене, своей дочери. Они оба, уверяла она, были к ней очень добры. Я спросил ее, почему же они ее бросили.

— Ах, просто потому, что кто-то им вбил это в голову!

Славная старая Крули! К сожалению, мне пришлось бы солгать, если бы прием, оказанный ей зятем, я назвал «восторженным».

★

...На мысе Йорк мы встретились с Миником. Он жил в одном из домов, предоставленных поселковой молодежи.

Такие дома имеются во всех больших поселениях — дома, давно кем-то выстроенные и никому, в сущности, не принадлежащие. Летом их может занять кто угодно. Надо только снять на лето крышу, чтобы солнце могло растопить лед и высушить стены, а осенью опять поставить на место камни и мох. В этих домах обычно живут летом юноши и девушки, без надзора и без всяких обязательств, кроме обычной ночной жизни.

Как то Миник зашел ко мне и сказал, что хочет жениться на Арнангуак. У него не было дома, но если бы он мог поселиться у нас, они имели бы пристанище на зиму, а весной он смог бы построить ей дом.

На следующий день Миник уехал в Тулу с молодой женой. Никаких обрядов не было.

Кнуд решил ехать на юг за медвежьим мясом, но мне порядком надоело бродяжить и я тоже отправился в Тулэ.

Там мы выстроили с Минином маленький домик, рядом с нашим большим. Я перешел туда с ним и с его женой. потому что в Арктике трудно отличить день от ночи и эскимосы способны зайти поговорить в любой час. Кнуд мог двадцать четыре часа не спать, а потом заснуть тоже на сутки, но я любил ложиться в определенные часы. Мы решили, что наш большой дом будет служить конторой, столовой, приемной и лавкой. Кнуд будет спать в мезонине, а я буду жить с Минином.

К несчастью, жена Минника оказалась неважной хозяйкой. Терпение у нее было неистощимое и в ее характере не было никаких плохих качеств. По правде сказать, у нее вообще не было никаких качеств: я редко видел женщину менее сообразительную, чем Арнангуак. Она никогда не знала, за что ей взяться. И довольно скоро Минник стал все чаще и чаще отлучаться из дому, уходя на охоту на много дней.

Однажды он объявил нам всем, что уходит на север и уходит один. Он не знал, когда он сможет вернуться.

Я не возражал ни словом против его ухода, и он пустился в путь, оставив меня наедине со своей молодой женой.

Чтобы избежать даже намека на сплетню, Арнангуак пригласила Мекупалак, девушку-эскимоску, приходить к ней ночевать. Каждый вечер, окончив свои домашние дела, девушка прибегала к нам в дом. Ее одежда была в ужасном виде, сапоги — почти без подошв, а меховые чулки вытерты дочиста. Но она всегда бывала в прекрасном настроении и в нашей комнате становилось веселее, когда она прибегала. Она умела так забавно рассказывать про все свои делишки, что мы не могли удержаться от смеха, и каждый вечер мы с нетерпением ждали ее прихода.

Наконец, однажды, когда она пришла, она не застала Арнангуак и я сказал ей, чтобы она осталась со мной. Она посмотрела на меня и потом ответила просто:

— Я не могу ничего решить, ведь я только слабая, маленькая девочка. Вы сами должны решить за меня.

Но глаза ее красноречиво говорили на языке, знакомом всякой девушке, независимо от расы и климата.

Я только попросил ее перейти с соседних нар на мои, — вот и весь свадебный

обряд, какой был нужен в этой стране простых душ.

На следующее утро она спросила, возвращаться ли ей домой, и когда я сказал «нет» — это было окончательным решением. Через несколько часов один из ее братьев прибежал спросить, почему она не вернулась домой. Она сказала:

— Кое-кто занят шитьем для себя в этом доме.

Мальчишка был поражен, но не сказал ни слова и, круто повернув, помчался по всем домам сообщить эту новость. Через несколько часов сани полетели во все стороны, — к югу и к северу, — рассказать о случившемся и услышать из первых рук мнение соседей.

И опять-таки я был поражен удивительной тактичностью этих людей. Никто перед нами ни одним словом не помянул о том, что девушка не всегда жила в нашем доме. Посетители приходили, как всегда и болтали, как будто она много лет была моей женой, и они сто раз бывали у нее в гостях.

Единственно кто был недоволен в нашем доме — это Виви. Она недавно отпраздновала свое двадцатилетие, но, так как ее сыну было уже четырнадцать лет, то она, очевидно, слегка ошиблась в вычислениях. Она объяснила мне, что очень хочет выйти замуж, и какого-нибудь счастливого субъекта мужского пола может быть подбодрит то, что она сбавит несколько лет. Однако, — вздохнула она, — эти невежды даже ничего не понимают в возрасте.

На следующий вечер моя маленькая жена попросила меня пойти с ней на берег, где мы могли бы поговорить наедине, без крыши над головой. Она сказала, что размышляла целый день и решила теперь, когда она стала женой белого человека, носить какое-нибудь из своих остальных имен. (Кроме того, жена Одарка-Меку умерла, и имя «Мекупалак» больше нельзя было произносить). Она, однако, боялась переменить имя, не посоветовавшись со мной.

Я согласился, чтобы она переменяла имя, и с того дня вся Гренландия знала ее как «Наварану».

★

Надвигалась арктическая ночь, но нам нужно было поехать еще дальше, на север, оповестить наших друзей-эскимосов, что мы скоро поедем в Тассиусак за почтой и предложить им сопровождать нас. Нам при-

шлось объехать мыс, где лед еще не совсем стал. Он начал поддаваться под нами, и добравшись наконец до льдины, которая нам показалась надежнее других, мы остановились.

Мы сели на сани и стали смотреть вперед, в темноту.

— Ты боишься? — спросил я.

— Разве женщина боится, когда она едет со своим мужем, — возразила Наварана. — Разве она не надеется на него, когда ей неспокойно?

Такие слова подбадривают молодого супруга и дают ему почувствовать, что он чего-нибудь да стоит. Я старался во-всю, но лед был такой скверный, что нам пришлось испробовать другой путь, — тот, что частью шел через ледник. Когда мы дошли до ледника, собаки были слишком утомлены, чтобы везти нас, и мы оба шли за санями. Я хлестал собак, чтобы показать Наваране, что она вышла замуж за человека, умеющего подчинить собак своей воле. Я орал и ругался, но мы продвигались невозможно медленно. Собаки вдруг останавливались и я бежал вперед, хватал их за шиворот и бил за такую лень.

Я боялся признаться Наваране, что я беспокоюсь, но через несколько часов я окончательно измучился, а мы как будто и не сдвинулись с места. Мы уже давно должны были быть на другой стороне, и я объявил:

— Давай вернемся! Собаки не могут перетящить груз через ледник.

— Неужели ты хочешь вернуться и сознаться соседям, что мы не могли перейти ледник, а потом слушать их насмешки? Женщины засмеют меня за то, что мы не доехали, куда хотели. Я не хочу слушать насмешки.

— А к чорту всех баб с их насмешками! — заорал я. — Ты сама видишь, что собаки не могут тащить сани.

Она робко взглянула на меня, как будто боялась выговорить то, что она должна была мне сказать:

— А может быть возможно что-нибудь сделать и заставить их попробовать?

— Да что же можно сделать? Покажи, что ты предлагаешь.

Она что-то пробормотала и попросила меня не думать о ней плохо. Потом она взяла мой кнут и налетела на собак. Они сразу насторожились при звуках нового властного голоса, и Наварана немедленно



Наварана

подняла их на ноги. Она превратилась в настоящую фурию. Из робкого, ласкового существа, каким она была минуту тому назад, она стала обезумевшей ведьмой. Кнут свистел, как будто ломался лед, ее голос звенел над всем ледником, и собаки налегали на постромки.

Они рванулись от безжалостного кнута, как будто и не чувствуя поклажи. Животные инстинктивно поняли, что власть перешла в руки человека, умеющего командовать.

Мы мчались к высшей точке перевала, как будто бы мы гнались за медведем. Сани шли с такой быстротой, что я еле за ними поспевал и с восхищением смотрел на мою маленькую жену с огромным кнутом в руках. Никогда она не была так хороша, и я все забыл, любуясь ее красотой.

Когда мы достигли вершины, она остановила собак и отдала мне кнут.

— Они просто стыдились, потому что правила жалкая маленькая женщина и торопилась домой, чтобы больше их так не обижали.

Я понял, что я слишком баловал своих собак, но я объяснил ей, что на моей родине не ездят на собаках, и мне трудно

научиться ими править. Она рассказала, как она постоянно ездила на охоту со своим дедушкой и научилась у него править.

— Но только никому не рассказывай, что я взяла кнут у тебя из рук,— предупредила она.— Я не хочу, чтобы женщины говорили про моего мужа, что он не лучший ездок во всей округе.

Что женщины скажут, или чего не скажут — было для нас, в течение долгого времени, чем-то вроде верховного судилища.

Немного погодя я обнаружил, что потерял свой большой нож. Мы проголодались и не могли нарезать мороженого мяса себе на завтрак. Я объяснил Наваране, как мне не хватает этого орудия. Мы поехали дальше и она сидела молча. Потом вдруг спросила:

— Великий ездок! Очень ли ты огорчен потерей своего большого ножа?

— Ну, сама понимаешь,— сказал я,— видишь, как трудно обойтись без него.

— Мне жаль, что я не знала, какое он для нас имеет значение. Хочешь, я заплачу, чтобы показать мое сочувствие?

Я был тронут ее вниманием и объяснил, что у нас на складе есть сотни ножей. Про этот нож я скоро совсем забуду.

— Как трудно понять такую жизнь,— сказала она.— Никогда я не могла себе представить, что можно так хорошо жить.

★

...Перед самым рождеством мы с Навараной отправились на север — раздобыть песцовые шкурки и пригласить кое-кого на юг. Они согласились идти с нами, но заставили нас взять с них обещание, что они не будут отдавать свои вещи всяким южным попрошайкам. Мы с Навараной погостили у приятелей на острове Герберта, где на нее смотрели, как на первую даму во всем племени. Мы отлично провели время и неохотно уехали, но нам надо было захватить в Неке до возвращения в Тулэ. Расстояние было небольшое и мы взяли с собой только немного мороженого мяса на завтрак.

День был темный,— уже настала зима,— но мы не беспокоились. Мы сидели в своих санях и думали, как чудесно нам живется вдвоем. Мы были молоды и здоровы, мы любили друг друга и у нас было все на свете, чего мы только могли пожелать. И, поглощенные нашим счастьем и довольством, мы не заметили, как низко нависло небо, закрыв звезды. Вдруг хлест-

нул ветер и колючий снег стал стегать нас по лицу.

Мы попали в худшую из метелей, какая только бывает в этих краях. Собак свалило с ног и сбило в кучу,— но нам необходимо было двигаться и найти себе убежище. Немыслимо было возвращаться назад, прямо в пасть бурана,— я даже не мог щелкнуть кнутом в том направлении. Единственный выход был — добраться до Неке. Наварана накрылась одеялом, а я погнался за собаками, стараясь идти спиной к ветру, пока мы не дошли до защищенного заливища, который Наварана сразу узнала: это был Игдлууарсьют, где она когда-то жила. Мы нашли там два пустых дома и забрались в один из них. С собой у нас были только спальные мешки и несколько свечей: мы забрались в мешки и постарались заснуть в надежде, что на следующий день погода станет лучше.

Но не тут-то было. Мы проспали, сколько могли, и каждый раз, просыпаясь, слышали вой бьюги. Она налетала порывами: то было почти совсем спокойно, то вдруг ветер завывал, как сирена. Нечего было и думать добраться до Неке в такую погоду,— а с каждым часом нам все больше хотелось есть. И свечей у нас было мало. Чтобы сохранить их на крайний случай, мы большую часть времени сидели в темноте, прижавшись друг к другу.

На следующий день я зажег свечу и сказал Наваране, что попытаюсь пойти и найти кролика; я знал, что тут их водятся множество. Она не возражала. Я ходил, ходил без конца, пока было хоть немного светло, но кроликов не видел. Когда я возвращался к дому, Наварана, которая стояла у двери, взглядываясь в темноту, побежала мне навстречу.

Наварана вела себя, как все хорошие, благоразумные жены-эскимоски. Никогда она не спросила бы мужа — принес ли он пищу: мы оба только смутились бы, если бы я не принес ничего. В данном случае я вернулся с пустыми руками, но она сделала вид, что ей и в голову не приходят мысли о добыче. Она просто скучала без меня, потому что была одна и замерзла,— и хотела понести мое ружье: ведь я ходил весь день и наверно устал.

Она подмела пол в доме и разложила наши шкуры на нарах.

— О, какая у тебя плохая жена! — воскликнула она,— ведь у меня нет ужина для тебя! Если мужчина уходит работать на свою семью, его должен ждть

ужин, когда он возвращается. А плохая жена забыла взять с собой все, что нужно, из дому.

Следующий день был не лучше. Короткие порывы ветра были хуже ударов боксера. Наварана просила меня не выходить и не подвергаться опасности. Должно быть, она просто хотела подбодрить меня, и поэтому я вышел. Я шел прямо, когда ветер стихал: а когда он налетал порывами, я хватался за землю изо всех сил. Наверно, в такие дни кролики прячутся под снегом. Но крайней мере, я не видел ни одного, а мое ружье было сплошь залеплено снегом. От ледяных иголок в воздухе невозможно было дышать. Когда я вернулся, Наварана пробовала что-то поджарить, в маленькой жестянке над пятью свечками. Она сказала, что на старой каменной полке, где раньше прятали мясо от собак, она нашла два тюленьих плавника. «Вот тебе один».

Я был голоден, как волк и проглотил плавник моментально. В плавниках очень много жира и по вкусу они слегка напоминают свиные ножки. Кусок был не особенно свеж, но все-таки это была еда, и мне сразу стало лучше. Потом я посмотрел на Наварану и заметил, что она жадно смотрит на косточки, которые я оставил.

— А другой плавник где? — спросил я.

— Я свой съела, — ведь я могла их поджарить в чашке только по одному.

Я понял, что она лжет и потребовал от нее всей правды.

— Но ведь раз сидишь и ничего не делаешь, значит не заслуживаешь того, чего заслуживает большой человек, который уходит далеко, чтобы принести домой что-нибудь.

Я сказал ей, что терпеть не могу лгунов. И в доказательство я снова натянул сапоги, схватил ружье и вышел. Она посмотрела мне вслед — и ничего не сказала. Эскимосская жена никогда ничего не скажет.

Мне сразу стало неловко и стыдно за свое поведение. Женщины как-то умеют показать свое превосходство над мужчинами, так что те чувствуют себя потом надолго приниженными. В своем эгоизме я не подумал о ней, пока не съел свою порцию, — несчастный этот плавник. А ведь я мог поделить его с Навараной.

Я решил не возвращаться, пока не раздобуду хоть немного мяса. Светила луна, и я видел довольно хорошо, но с каждым

порывом ветра снег окутывал меня, как лондонский туман, и приходилось прятаться. Я выжидал затишья, — а в душе у меня накапливались угрызения совести. Простая девушка-эскимоска показала мне пример настоящей порядочности и в то же время доказала, насколько ее любовь выше моей. Я достаточно испытал голод и понимал, что значит приготовить и отдать еду другому, а самому остаться голодным.

Вдруг в лунном свете я увидел двух кроликов. Снова на меня налетела вьюга, но я помнил, где я их заметил, и ждал. Как только ветер немного стих, я поднял голову. Я был совершенно засыпан снегом, но я закрывал ружье руками, и дуло было чисто. Я тихонько подошел к тому месту, где спрятались кролики, и остановился. Я не видел их, но знал, что они где-то близко. Вдруг снег рядом со мной зашевелился и маленькая мордочка высунулась наружу. За ней — другая. Я подождал, пока они вылезут из норы, и спустил курок. Одним выстрелом я уложил обоих, и у меня в руках оказались две чудесных тушки, весом фунтов по восемь каждая — было, чем порадовать Наварану.

Собаки залаяли, когда я подходил, и Наварана вышла мне навстречу. Луна ярко светила; Наварана увидела меня и побежала навстречу, не разбирая пути.

Когда она увидела кроликов, она так завизжала от радости, как будто никогда в жизни не видела лучшей дичи. Она взяла их у меня из рук и уверяла, что никогда не ждала такой прелести. Она была очень огорчена, что обидела меня, сомневаясь в моей способности раздобыть пищу, и особенно смущена при виде блестящего доказательства моей меткости.

Наша трапеза длилась несколько часов. Мы зажгли свечи и сначала съели сырые потроха. Потом, раззадорив свой аппетит такой закуской, мы сварили мясо в чашке, подвешенной над свечками.

★

...Корабль «Ганс Эгед» бросил якорь у островов Фаро. Мы решили послать оттуда телеграммы всем нашим друзьям о благополучном возвращении из Арктики. Эти вечно-зеленые острова встают, как призраки, из серого тумана. Триста пятьдесят четыре дня в году жители Фаросских островов терпят дождь, а зарабатывают они на жизнь тем, что продают сушеную треску.

Мы направились прямо на телеграф, взяли целую пачку бланков; заведующий посмотрел на нас испытующе и спросил, есть ли у нас деньги на оплату этих бланков. Но когда он увидел, что нашу первую телеграмму мы адресовали королю, он вскочил и вытянулся в струнку, как истый верноподданный! Мы отправили телеграммы в Географическое общество, в газеты, нашим семьям — и все послали бесплатно, без дальнейших возражений.

Фаро — единственное место в мире, где живы еще традиции древних викингов. Старинные танцы, как их танцевали еще рыцари с дамами, прошли нетронутыми через столетия. Те же старинные песни, те же бесконечные баллады поются в аккомпанемент танцу; те же строфы повторяются снова и снова, и длинные ряды танцующих сплетают и расплетают те же сложные фигуры. Они восхитительны для глаза — но не надолго.

Но таких прелестных девушек с длинными золотыми косами, с чудесным цветом лица и открытой улыбкой я нигде не видел. Жизнь полна опасностей — и на море и в горах, куда они ходят за птицей и яйцами. Только сильные, мужественные люди могут выносить этот климат, не говоря уже о том, как трудно отвоевывать себе пропитание у скудной природы этих островов, незаметных точек на поверхности моря. И все-таки эти девушки, занятые днем самой тяжелой, самой изматывающей физической работой, по вечерам — воплощенная женственность. Они так обаятельны и безыскусственны, так любят свои традиционные песни и пляски, так безукоризненно вежливы и милы.

Свирепый шторм оторвал нас от этих островов и погнал дальше.

Маяк в Скагене — наша «Статуя Свободы», и мы глубоко почитаем его. Оттуда — всего двадцать часов пути до Копенгагена.

★

...Перед входом в порт лежит всемирно-известный замок Кронборг, где, по преданию, хандрил Гамлет. Его «гробницу» — (грубую подделку, где просто хранится, вероятно, нечто не более романтическое, чем кошачий скелет) — показывают всем туристам, обнажающим головы в задумчиво-спокойном созерцании. Но замок, действительно, лучший памятник северного Ренессанса, а мы, пройдя Кронборг, уже чувствуем себя дома: оттуда только два часа до порта. Журналисты, до отказа набив-

шись в лодки, встретили нас у Кронборга и привезли с собой немало выпивки, чтобы нас поздравить. Мою порцию, конечно, выпил Кнуд.

Нас осаждали несколько раз по дороге к Копенгагену, и репортеры делали из нас настоящих львов. В порту нас приветствовали родственники и представители правительства. В длинных напыщенных речах о нас говорились пышные фразы, высокие бокалы наполнялись и осушались. Мы отвечали в том же высоком стиле и говорили, как мы рады, что вернулись на родину, — а потом все важные люди удалились.

Чудесно было опять вернуться в свою семью, и меня встретили еще лучше, чем я ожидал. Но через несколько часов Кнуд вызвал меня по телефону и спросил — занят ли я вечером. Когда я ответил, что никаких определенных планов у меня пока нет, он заявил:

— Ну, вот — мы будем не мы, если не устроим чего-нибудь. Как будто не похоже, что для нас собираются что-то сделать, — так давай-ка лучше мы сами за это возьмемся.

Спешно были разосланы приглашения всем важным людям и всякой другой публике на большой вечер в нашу честь, в лучшем ресторане Копенгагена. Как человек более осторожный и более прозаический, чем Кнуд, я спросил — кто же будет платить за этот вечер.

— Ты да я, — объявил он. — Если мы пересекли всю Гренландию и вернулись живыми, так неужели же мы не справимся с таким пустяком!

И какой вышел вечер! Некоторые из важных людей действительно явились, но Кнуд всех их затмил. Гости просто обалдели, когда он в камиках и в меховом костюме, в котором он ходил в экспедицию, прыгнул на стол и произнес приветственную речь в честь друзей, о которых он стосковался за три года. Тут же, в перерывах между блюдами он организовал такие танцы, что метрдотель спешно убрал посуду подороже.

Потом об этом вечере говорили как о величайшем событии в жизни Копенгагена. В разгаре вечера Кнуд побежал вниз в ресторан и пригласил еще гостей из запоздавших посетителей. Ведь мы вернулись на родину, надеясь, что нас будут чествовать. А раз никто и не собирался нас чествовать, мы сами решили исправить всеобщую забывчивость.

Но на следующий день мы опять были заброшены, и я помню, как мы с Кнудом ходили вечером по улицам и сравнивали — как принимали нас и как принимали широко рекламированные экспедиции, которые пользовались поддержкой государства. Даже арктическим исследователям нужна реклама!

Потом нас вызвал к себе новый король. От него мы узнали, что сделали большую бестактность, назвав открытую нами землю в честь датского короля, не испросив сначала его разрешения. Оказалось, что это совершенно не принято.

Кнуд стал его уверять, что мы хотели выразить внимание, но король не был уверен — достаточно ли велика эта земля и достойна ли она носить его имя. Кнуд сказал, что безусловно достойна, и я поддерживал его.

Однако его величество заявил, что ему придется послать какого-нибудь авторитетного человека посмотреть эту землю, прежде чем он, король, решит принять этот знак внимания. Кнуд окончательно рассердился и воскликнул:

— Я знаю, что неудобно мне противоречить королю, но говорю вам — эта земля вполне достойна вас — ведь я-то знаю ее лучше, чем вы.

Конечно, подданному никак не полагалось так разговаривать с королем, — особенно в те времена.

Но вообще мы были не особенно в моде. Мы узнали из газет, что географические общества всего мира заинтересовались нашей работой, поэтому мы обратились в «Фонд Карлсберга» — знаменитое датское научное общество, — за пособием в сто сорок фунтов стерлингов для покрытия расходов нашей экспедиции через ледяной щит Гренландии. Сумма была, в конце концов, пустячная, и члены этого почтенного учреждения были несколько смущены, когда выдавали нам наконец деньги после бесконечной торговли. Они все-таки посоветовали нам в следующий раз просить больше: ведь большинство людей будет считать, что ничего значительного нельзя сделать, имея всего сто сорок фунтов.

Я так долго пробыл вне цивилизации, так долго сталкивался только с элементарными вопросами, что чувствовал себя совсем чужим среди старых друзей. За три года моего отсутствия многие из них стали учеными людьми. Я гордился своей физической силой, своей способностью выдерживать долгий голод. Но для

них все то, что я делал, не имело того значения, которое я придавал этому вдали от всего мира.

Моя поездка в Данию была большим разочарованием для меня. Я чувствовал, что вся реклама, все приемы, на которых мы присутствовали, были просто болтовней. Я тосковал по Наваране, по суровому северу.

Я пробыл дома пять недель и уехал обратно в Гренландию.

★

...Наварана с трудом скрывала радость при встрече со мной и потом призналась мне, что она очень боялась за меня. Ей говорили, что больше она меня не увидит, что я ее брошу, наверно никогда не вернусь в Гренландию, — словом, наговорили ей массу вещей не особенно утешительных для молодой жены, когда она одна и далеко от своей семьи.

Я стал расспрашивать ее о миссионере и подготовке к принятию крещения. Она рассказала мне, что он начал религиозное обучение с поцелуев, и даже позволил себе некоторые вольности, но она просто стукнула его, и убежала. После этой пробы, говорила она, ей незачем креститься, потому что совершенно не стоит подвергаться оскорблениям только ради крещения. Она приняла этот случай очень близко к сердцу: по ее мнению люди, которые желают обучать других, сначала должны научиться держать себя в руках. Миссионеру вскоре предоставили длительный отпуск — подумать на свободе о своих прегрешениях, но когда этот год кончился, он стал снова уважаемым и священным слугой господина бога в Гренландии.

Для Навараны все это было непонятно. Она видела миссионера в Туле, который не мог обуздать своих чувств по отношению к женщинам: она слышала о многих священниках в Южной Гренландии, лишенных сана за подобные проступки. Зачем же, — недоумевала Наварана, — устанавливать правила, которые противоречат влечениям мужчин, да и женщин тоже? Зачем упорно создавать законы, которые нельзя выполнять?

Я не мог ей ничего ответить. Я только чувствовал, что ни за что не хотел бы быть миссионером.

★

...Темнота надвигалась вместе с зимой, и отовсюду к нам стекались торговцы для

меново́й торговли. Конечно, те, кто жил северней, ездили в Иту и продавали свои песцовые шкуры Мак-Миллану, но у нас было много друзей, не желавших торговать ни с кем, кроме нас. Они знали наш способ торговли — совсем не похожий на способ других торговцев, но оказавшийся необычайно удачным именно с нашими несколькими особенными клиентами. Их всех принимали, как гостей и так как они приезжали торговать только раз в год, то понятно, что они ждали поездки, как самого выдающегося события в году.

Вся семья прибывала на санях. Они приезжали независимо от времени — днем или ночью. Когда темно — эскимосам нечем определять время. Кроме того, у них нет установленного времени для сна: они спят, когда устают.

В нашем доме всегда кто-нибудь бодрствовал, чтобы встретить их. Часто они приезжали издалека и неизменно надо было при встрече проделывать определенную церемонию. Иногда они сначала отказывались войти, уверяя, что выехали просто прогуляться, или заглянули к нам по дороге в другой поселок.

Но, наконец, они входили, — сначала жена и дети, потом муж — он сначала устраивал своих собак. Я всегда разглядывал их груз, смотрел, как они вешали мясо на загородку и остальное вносили в дом. Обычно я замечал пару мешков, подозрительно непохожих на мешки с мясом, но они их тоже вешали на жерди и все время не выпускали из виду.

Они всегда были рады нас видеть, всегда так охотно слушали то, что мы им рассказывали и с наименьшим удовольствием сообщали нам о событиях в своей собственной семье, — обо всем, что хоть немного нарушало однообразие их жизни. У нас теперь была ванна — предмет всеобщего восхищения. Мы всем разрешали в ней купаться, но сначала желающий должен был сам наколоть лед, растопить его и согреть воду на плите. Ванна так всем нравилась, что я видел, как некоторые посетители лежали в ней часами. Когда вода остывала, их жены подливали кипятку с печки, и гигиеническое воздействие такого купанья раз в год вскоре становилось заметным. Но были гости, которые никогда не заражались нелепыми новшествами, и не доходили до такого безумия, как купанье.

Мы говорили о многом — и об охоте, и

о собаках, и о детях. О чем же еще можно говорить в мужской компании?

На третий день посещения — а по датским понятиям после трех дней и рыба и гость становятся маловыносимыми, — я спрашивал — просто, чтобы хоть что-нибудь сказать — нет ли у посетителя песцовых шкур. Он удивленно смотрел на меня, как будто я задал самый глупый вопрос на свете.

— Песцовые шкуры? У кого? У меня? О, нет! Случилось так, что перед вами сидит очень плохой охотник. В моем доме нет песцовых шкур. Для ловли песцов нужен ловкий охотник. Никогда на мою долю не выпадала такая удача.

— Как жалко, — отвечал я, — мне очень нужны первоклассные песцовые шкуры, и я знал, что если мне понадобятся самые что ни на есть лучшие, я могу их достать только у вас.

— Ох, наконец-то мне будет что рассказывать дома, всем на удивление! Петерсуак ошибся — а все полагали, что этого быть не может. Случилось так, что бедный человек набрался храбрости и вошел к вам в дом и обманул вас. Я совсем не охотник за песцами. О, нет. Ах, как я несчастлив! Где же моя бедная жена и мои несчастные дети? Нам надо сейчас же уходить — иначе великий белый человек рассердится на нас. Он думал, что у нас есть песцовые шкуры, а у нас их нет.

— О, я в отчаянии! Я так ждал вас, чтобы пополнить свои запасы. А что же это там у вас в мешках?

— Ничего такого, о чем стоит упоминать в вашем великолепном доме!

— А я думал, что там песцовые шкуры. Я надеялся, что это — шкуры.

— Ну, вот, теперь-то я могу вволю пошмеяться! Он думал, что там песцовый мех! Да ведь там нет ничего, кроме старых ошметок, которые мы захватили с собой чтоб вытирать руки. Мы дома ими подтирали жир и грязь с пола.

— Может быть, вы дадите мне хоть взглянуть на них. Я не привык смотреть на настоящие хорошие меха, и мне бы хотелось на них полюбоваться.

— Ни за что! — отвечали мне. — Надо было выбросить эти шкуры прежде, чем мы доехали до вашего дома. Нельзя было везти их туда, где живут такие могущественные люди. Мы притащили их потому, что мы — невежественны и неотесаны. Никогда мы не осмелимся внести их в дом.

После бесконечных пререканий, я уго-

варивал своего гостя завтра принести мешки ко мне в дом и разрешить мне взглянуть на их содержимое. Он вздыхал и стонал, как будто у него был аппендицит. (Прошу помнить, что он приехал именно продавать мне эти шкурки!) И все-таки он соглашался лечь спать или зайти в гости к приятелям, жившим по соседству, только после того, как он уверит меня, что не сможет сомкнуть глаз от смущения и стыда.

На следующий день я напоминал ему о его обещании. Сначала он делал удивленное лицо, потом, с видом человека, которого ведут на электрический стул, уходил за своими мешками. Он возвращался с женой, неся шкуры, причем оба стонали и причитали — зачем они приехали к нам!

Наконец, их обоих — и мужа и жену, — удавалось уговорить выложить шкуры на пол. Разумеется, большинство местных жителей присутствовало при этом, чтоб быть свидетелями их триумфа.

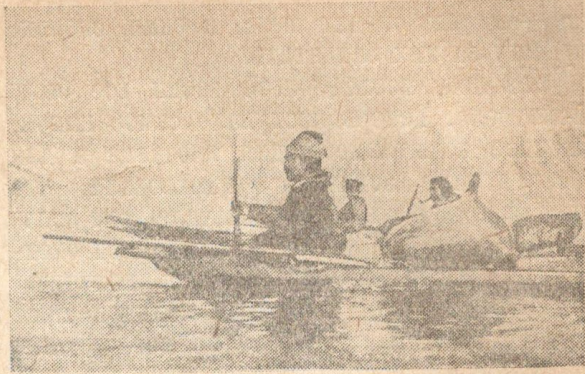
Помню одного посетителя, который швырнул на пол штук пятьдесят шкур. Они были чудесно выдублены и обработаны. Жена сжевала с них весь жир до кусочка, и мех был пышный блестящий.

Я спускался на стул и начинал протирать глаза, как будто не веря, что моему взору предстали такие великолепные шкуры. Когда мой клиент заговаривал о том, какое нахальство с его стороны показывать мне такие шкуры, я начинал осыпаять его и всю его родню похвалами за поимку таких превосходных экземпляров. И наконец, потратив несколько часов на всю эту болтовню, я просил гостей убрать шкуры в мешки. Я бы охотно купил их, — говорил я, — но, к сожалению, не могу: мне нечем платить за такие несравненные шкуры.

— Неужели вы считаете меня таким дураком? Неужели вы предполагаете, что я посмею взять что-нибудь за такие грязные отрепья! О, нет! Я хотел бы, чтобы вы снизошли и приняли их в подарок, но наверно и это невозможно, — вы обидитесь на такое дурацкое предложение.

— Но мне очень хочется их получить. По крайней мере, у меня будет отличный подарок для Кнуда.

— Ох, нет, нет! — протестовал охотник, — только не Кнуду! Он знает толк в мехах. Не говорите ему, что это — мои шкурки, хотя он сам сразу догадается.



Кнуд Расмуссен в каяке

Когда он увидит такую гадость, он сразу узнает, что она — от нас.

И тут, наконец, начинался настоящий торг. Я говорил:

— Я счастлив, что мне достались эти меха и мне хотелось бы дать вам за них что-нибудь из вещей, которые я привез с собой этим летом, но все это — такая дешевка, такой хлам, что я не решаюсь предложить вам его.

Тон посетителя слегка менялся.

— Мы будем счастливы и довольны всем, что вы нам дадите, но мы не смеем ничего просить, — что бы вы ни дали, — все равно будет слишком много.

— Ну, так вот что, — объявлял я, — берите ключ, и идите и осматривайте все нестоющее барахло, какое у нас есть. Мне стыдно идти с вами и быть свидетелем вашего разочарования.

Здесь наставал самый важный момент торговли. Покупатель с женой брали ключ и исчезали в лавке. Несколько местных эскимосов, хорошо знавших наши запасы, сопровождали их и объясняли им, сколько что стоит. Я знал, что все товары в лавке будут тщательно осмотрены. Если там лежало пятьдесят ружей одной марки, то я знал, что все они будут сняты с полок и осмотрены. В каждый чайник надо было заглянуть. Много раз я замечал, что если у нас была кастрюля хотя бы чуточку поврежденная, — например, кусочек эмали откололся, — то именно эта кастрюлька оставалась, пока все остальные не были разобраны. Эскимосы знали, что им было нужно и соблюдали свои интересы. Иногда они оставались в лавке больше, чем на полдня. Когда наступало время еды, мы звали их, а потом они опять продолжали свои микроскопические исследования. Мне было безразлично, сколько они там сиде-

ли, — я уже оценил меха, и знал, сколько я могу за них заплатить.

Наконец, после долгой возни все было осмотрено. Теперь наступало самое напряженное испытание и для продавца и для покупателя. Эскимосы чувствовали, что чем скромнее они будут вначале, тем больше они получают потом. Я спрашивал охотника, что же бы ему хотелось получить. Он отвечал, что, посмотрев великолепные товары нашего склада, он не мог унижить ни одной из вещей, взяв ее к себе домой. Но... но если я все-таки непременно хочу ему что-нибудь дать, то он позволит себе смелость попросить парочку гвоздей.

Мне приходилось опять брать разговор на себя. Не хочет ли он получить ружье? Ну, конечно, он хочет! А патроны? О да, несомненно! Куда годится ружье без патронов? А как насчет ножа? Нож ему очень-очень нужен. А топор? Вот именно из-за топора-то он и приехал.

Ну, а кастрюля? Если у него будет кастрюля, он будет счастлив навеки. А табак? Если бы я мог дать ему немножко табаку, он всю зиму курил бы его и вспоминал меня. И все в том же духе.

Иногда и жена его вставляла свое слово:

— О, неужели мои уши полны человеческих нечистот? Какие ужасы слышу я! Неужто я должна слушать, как мой муж оскорбляет белого человека и позорит себя, грабя белого человека с самым невероятным бесстыдством. Лед провалится и горы обрушатся — весь мир будет потрясен, узнав, как мой род забыл все правила приличия.

Все дело было, конечно, в том, — чтобы привлечь всеобщее внимание к изумительному умению ее мужа торговаться. Он приказывал ей замолчать и покатывался со смеху, потому что женщины в этом доме осмеливались вмешиваться в разговор мужчин.

Но наконец муж заканчивал торговлю. Тогда я обращался к жене:

— А вы не хотите чего-нибудь купить?

— Кто, я? Слышит ли кто-нибудь, как белый человек обращается к женщине? Ох, пусть хоть этим он не смущает ее, с нее и так достаточно!

— Но разве вам ничего не нужно?

— Ой, кто-то со мной разговаривает! Я не знаю, как мне отвечать! Со мной никогда еще никто не говорил!

Последняя фраза была, конечно, явной ложью, и я продолжал свое наступление. Муж и жена обычно делали вид, что в сво-

их делах они никакого отношения друг к другу не имеют: они чувствовали, что так им достанется больше. Жене нужны были иголки и нитки, рубахи и ножницы, зеркала и игольники, чайники, табак, мыло, — словом все, что у нас было.

— Погодите, погодите! — восклицал ее муж. — Пустите меня к этой женщине, — я вытащу ее отсюда за волосы. Всем теперь известно, что я мало луплю ее и плохо обучаю скромности. Дайте-ка мне взяться за нее и поколотить как следует!

Но даже и этому приходил конец. Муж с женой окончательно отбывали в кладовую, чтоб достать выбранные ими товары. Но тут-то подходил самый острый момент, — они, оказывается, забыли многое, в чем очень нуждались. Оба прибежали ко мне.

— О, простите меня, пожалуйста, но мне необходима пила. Я только за пилой и приехал, и если я поеду домой без нее, я буду считать, что мне ни в чем нет удачи.

— Можете взять пилу, — и он бежал за ней.

Тут начинала жена: — Я хочу отдать вам нитки. Лучше я возьму чашку.

— Можете взять и чашку тоже.

Конечно, эти славные люди и не подозревали, что я ожидал этих последних попыток выторговать что-нибудь хоть по мелочам, и оставил, по крайней мере, две шкурки неоплаченными до последней минуты. Учить первобытный народ торговле — вещь не такая простая, как многие думают. Эскимосы привыкли торговать с китоловами, отдавая все, что у них было и получая то, что китоловам было угодно им выдать; в большинстве случаев сделка оказывалась явно нечестной по отношению к охотникам.

На следующий год мы ввели деньги среди того племени, где мы жили, чтобы эскимосы сами могли высчитывать стоимость шкур. Денег у нас было мало, поэтому мы их сами стали делать. Я потратил всего сто двадцать крон, чтобы сделать тридцать тысяч «крон» из алюминия. Может быть, зародышем этой идеи могли бы воспользоваться многие государства, страдающие от кризиса в наши дни...

★

...Как-то вечером я заснул, прозанимавшись несколько часов подряд. Наварана ушла в палатку к соседям, — поест «маттака»: в тот день поймали двух нарвалов.

Меня тоже приглашали, но почему-то я не пошел.

Среди ночи она вернулась, жалуясь на боль в животе. Мы решили, что ничего серьезного нет: просто она съела слишком много «маттака». Она ушла в соседнюю комнату и легла спать.

Через несколько часов Арнангуак, все еще жившая в нашем доме, пришла ко мне и сообщила, что настало время для Навараны — она вот-вот должна родить.

Я перепугался до потери сознания. Конечно, я понимал, что рано или поздно этот час должен был настать, но мы не знали, когда ждать ребенка. Я крикнул Арнангуак, чтоб она не оставляла Наварану, и полетел звать Кнуда. Он выбежал из своей палатки, огорошенный не меньше, чем я.

— Ну, во всяком случае, — сказал он авторитетным тоном, — ведь у него было двое детей, — я знаю, что когда Ганна родилась, мы сварили кофе и выпили целую массу. Пойдем за водой, — там тоже нужна будет горячая вода.

Мы пошли за водой: я думал, что до самых родов времени еще очень много. Взяв ведра, мы пошли вдвоем к ручью, — мы знали, что помочь мы можем только этим. Когда мы вернулись, мальчик уже родился!

Я немедленно решил всех оповестить и побежал от палатки к палатке, радостно крича. Все очень заинтересовались — в Арктике всякий человек интересуется всеми событиями, но мне показалось, что интерес был проявлен недостаточный. Тогда я побежал в дом, где спал доктор Хоуви и остальные белые. Они довольно недвусмысленно дали мне понять, что эта новость могла бы обождать до утра. Только капитан Комер встал, оделся и сел пить кофе с Кнудом и со мной. Наварана сказала, что чувствует себя совсем сонной после чашки кофе, выпитой с нами, — больше делать нам было нечего.

По правде говоря, отец при рождении своего сына не является самым необходимым на свете человеком... Правда, он не очень страдает физически, но его самолюбие и уверенность в своей значительности терпит большое поражение.

Пришлось нам, посидев немного, снова лечь спать.

Мальчик родился в три часа утра 16 июня 1916 года. В восемь часов утра Наварана встала, убрала свой дом и вышла на воздух, неся ребенка на спине. В пять часов вечера того же дня она открыла

бал с Кнудом и танцевала во-всю. Правда, она легла, прежде чем гости разошлись, и жаловалась на усталость.

Мальчик был здоровяком. Один его глаз чуть-чуть косил — он до сих пор немножко косоват, — но все знали: эта неприятность только должна подтвердить нам, что на самом деле ребенок — это возродившийся старик Мекусак — его одноглазый прадедушка. На спине у мальчика было синеватое пятно, как у каждого эскимосского ребенка. К трем-четырем годам оно обычно исчезает. Но у него вдобавок было еще одно родимое пятно, пониже на спине в области почек. Это как бы указывало на то, что его надо назвать еще «Аватак». Мальчика, жившего на севере, которого так звали, недавно застрелил его дядя в припадке сумасшествия. Пуля вошла в тело в том самом месте, где было родимое пятно у нашего сынишки. Так наш мальчик появился на свет с уже готовыми именами.

Наварана работала так, как будто ничего не случилось. На пятый день было готово ее платье со специальным копушоном. Она положила в копушон маленького Мекусака, взобралась с ним на вершину горы, показала ему его охотничьи владения и велела ему стать великим охотником на зверя и добытчиком мяса.

★

...Если бы не щедрость местных жителей, мы не могли бы существовать. Я разъезжал, занимался всякими изысканиями и не подумал припасти мяса, но наши соседи всегда приносили нам часть своей добычи.

Наварана выросла во всех отношениях. На нее, теперь уже мать двух детей, опытную женщину, уже никто не мог смотреть сверху вниз, и она всегда старалась держаться на высоте своего положения.

Один из эскимосов обычно уделял нам очень маленькие порции мяса из своей добычи, и Наварана решила проучить его. Я объяснил ей, что, в сущности говоря, мы не имеем никакого права даже на такую долю, но Наварана уверяла меня, что если Ивик хочет считаться членом общества, его жена должна приносить нам приличные порции мяса. Я обещал поговорить об этом с Ивиком. Наварана рассмеялась:

— Во-первых, он только глупый мужчина, и кто станет обвинять его за поступки жены? Ведь жена распоряжается мясом в доме, а мужчине достается только

удовольствие принести добычу с охоты. Во-вторых, вы, мужчины, не умеете выбрать человека так, чтобы ему стало больно. Может быть, лучше взяться за это кому-нибудь другому.

В тот вечер жена Ивика, как всегда, пришла с маленьким кусочком мяса.

— О, как великодушно с вашей стороны вспомнить о нас!— воскликнула Наварана.— Сидишь тут дома и грустишь, что твой бедный муж не может идти на охоту,— и вдруг появляется столько мяса! Нам не съесть его за много дней. О, наконец-то наших бедных собак можно будет накормить досыта! Но я полагаю, вам надо разделить эту порцию и между другими семьями, не правда ли? Дайте, я вам помогу. Ведь не собираетесь же вы отдать нам весь этот кусок?

Смущенная женщина начала уверять ее, что все мясо предназначено нам.

— Ну, тогда разрешите мне дать вам хоть что-нибудь из моих жалких скверных вещичек,— продолжала Наварана,— не в оплату, нет — разве можно оплатить такой подарок!— а просто, чтобы выразить вам мою глупую, ничтожную благодарность.

И Наварана собрала самые драгоценные наши вещи и нагрозила ими женщину: половину нашего сахара,— как ни мало у нас его было,— крупу, два платка и прекрасную коробку с иглками. Бедная женщина отказывалась брать, но положение было безвыходное, а Наварана нагружала ее все больше и больше. Свидетелей унижения гостя было немало, и Наварана безжалостно пользовалась этим. Многие из вещей, подаренных ей на юге, она принесла и отдала этой женщине. Когда та, наконец, расплакалась, Наварана воскликнула:

— Как мы рады, что вам было так весело у нас в гостях. Ах, вот вам еще одна мелочь,— наверное вам будет приятно взять ее на память.— И Наварана приплепнула грудю подарков тем самым куском мяса, который принесла женщина, и выставила ее за дверь.

На следующее утро Ивик сам явился узнать, что случилось. Наварана, невинная, как ягненок, даже не понимала, о чем он говорит,— она так рада была вчера пощению своей милой приятельницы!

Но соседи рассказали Ивику все, и вскоре мы услышали, как он бьет свою жену: она визжала на весь поселок. На следующее утро я нашел трех тюленей на своей полке для мяса и все подарки Нава-

раны. Ивик с семьей совсем уехал из поселка — они стали отщепенцами нашего общества, и им пришлось искать другое место для охоты.

★

...11 декабря 1918 года мы вошли в Копенгагенский порт и попали прямо в гущу корреспондентов, родных и знакомых, всех, по ком так долго скучаешь и от кого так скоро хочешь избавиться. Уже к концу первого дня у меня было одно желание — повернуться и удрать в Гренландию. Наварана, как все эскимосы, впервые попавшие в цивилизованную страну, была разочарована. Белые люди всегда преувеличивают самые обыденные стороны жизни на своей родине.

— О-о, я думала, что дома гораздо больше,— ведь они не выше айсбергов! Я считала, что лошади гораздо больше людей,— говорила Наварана, и ее ничто не поражало,— все, что она видела, было не лучше того, что она себе представляла.

Только две вещи произвели на нее впечатление: во-первых, солнце, несмотря на то, что была зима, во-вторых, упряжка лошадей, жевавших корм из торб, привязанных у морды. Значит, на лошадях можно ездить и в то же время их кормить. По мнению Навараны, такое изобретение указывало на то, что белые люди не лишены сообразительности.

На следующий день мы имели аудиенцию у короля. Правитель нашей страны был очень милостив и задавал Наваране через меня традиционные вопросы: что она думает о Дании — и так далее.

Наварана обернулась ко мне:— Неужели этот человек, действительно, тот король, о котором мы так много слышали? Как же он может думать за всех людей в Дании, раз он так глуп, что предполагает, будто я могу составить себе мнение об этой великолепной стране, пробыв в ней всего лишь один день?

— Что она говорит? — спросил властелин.

Я перевел несколько вольно:— Ваше величество, она считает, что Дания — прекрасная и великая страна.

— Так я и думал! — заявил король, и остался очень доволен.

Я отвез Наварану к моим родителям, и она с детьми осталась жить у них. Мне приходилось много разъезжать с лекциями, и я не мог проводить с ней столько времени, сколько мне хотелось. Я был уверен,

что ей надоело сидеть без всякого дела, и ей было бы приятнее жить в своем собственном доме, где она могла бы стирать все, что ей хотелось и говорить все, что ей вздумается. У нее ни в чем не было недостатка, говорила она мне, но все доставалось слишком легко. Не чувствуешь, что живешь по-настоящему, если не надо преодолевать препятствий.

Эпидемия «испанки» в те дни нахлынула на Европу, и я тоже заразился.

Меня продержали в больнице четыре месяца, и долгое время я был настолько плох, что лежал в отдельной палате для умирающих.

Потом Наваране разрешили меня навещать, и она одна умела меня успокаивать. Моя мать, мои сестры и целая куча репортеров тоже приходили ко мне. Наварана просиживала около меня целыми днями. В это тяжелое время она жила в гостинице, и каждый день ей приходилось ходить очень далеко, но она отличала нужные трамваи по их окраске, и следовала за ними. Она предпочитала ходьбу пешком езде в трамваях.

Я был так слаб, когда выписался из больницы, что долго не мог ходить. Волосы у меня выпадали; я исхудал, как никогда в жизни, и меня мучил ишиас. Видно было, что я на долгие месяцы выбыл из строя, и Кнуд объявил мне, что решено послать в Туле другого человека, — заменить меня на время. Я протестовал, но когда Нибс — главный руководитель нашей фактории — согласился с Кнудом и с моим врачом, мне пришлось подчиниться их решению.

Для меня это было первым серьезным поражением в жизни, — и большим ударом.

Я отправился на маленький островок Слотау, — отдохнуть на несколько недель. Кнуд задумал на следующий год экспедицию к Гудзонову заливу, чтобы изучить быт центральных эскимосов, и рассчитывал на помощь как с моей стороны, так и со стороны Навараны. Он предложил Наваране поскорее ехать в Туле и взять на себя наблюдение за пошивкой одежды для экспедиции, потом приехать в конце зимы в колонию Уманак и будущим летом соединиться там с нами.

Мы с Навараной обсудили этот план, и ей страшно захотелось взяться за дело. Хотя ей и понравился Копенгаген, когда он для нее был вновь, но теперь здешняя жизнь, или, вернее, отсутствие всякой жизни начало сказываться. Ей надоело быть предметом любопытства. Горожане вели се-

бя бестактно, рассматривали ее на улице, предлагали ей денег и ощупывали ее одежду. Она мечтала вернуться в Гренландию. Нашу дочку, Пипалук, мы решили оставить у моих родителей.

Как то вечером я взял Наварану в Королевский театр на балет, прогремевший тогда по всей Европе. Она была зачарована. Вернувшись домой, я лег, а она все сидела и смотрела в окно.

— Скажи мне правду, — проговорила она вдруг, — там, сегодня, мы видели настоящих ангелов или нет? Если они — настоящие, значит есть какая-то правда в этих рассказах про Иисуса.

Я расхохотался и объяснил ей, что мы были не в церкви, а в месте увеселения. Прима-балерина была очаровательна, это верно, но ее никак нельзя было считать ангелом, и я обещал Наваране повести ее завтра в гости к этой даме.

Прима-балерина весело болтала с Навараной и подарила ей громадную бутылку дорогих духов: если она возьмет их с собой в Гренландию, их хватит ей по меньшей мере на год.

Мы устроили прощальный бал нашим многочисленным друзьям и пригласили всех эскимосов из Южной Гренландии, которые были в то время в Копенгагене. Наварана имела громадный успех, так она была хороша и таким счастьем сияли ее глаза. На ней было бальное платье и сверкающие новые туфельки на каблучках. Это был ее последний бал в Дании, и она танцевала и веселилась всю ночь напролет. Когда закончится экспедиция к Гудзонову заливу, она опять придет в гости к своим датским друзьям. Так мы предполагали, но эти планы никогда не сбылись.

После бала мы поехали в гостиницу. У Навараны так болели ноги, что она еле проковыляла от автомобиля до нашего номера и когда она, наконец, разделась, она не могла заснуть.

Я проснулся через несколько часов и увидел, что она сидит, опустив свои бедные распухшие ножки в таз, куда она вылила все изысканные духи фру Эльмы. Она сказала, что это единственное, от чего ей стало легче. От воды ей только становилось хуже.

— Ангел она или нет, — добавила Наварана, — но за эту бутылку я ей всегда буду благодарна. Эта штука пахнет отвратительно, но она чудесно охлаждает натертые ноги.

★

...Через несколько дней Наварана и Мекусак уехали с капитаном Педерсеном. Я был все еще настолько слаб, что мог проходить только очень маленькие расстояния, не отдыхая, поэтому я вернулся на мой островок, где доктор заявил мне, что я никогда больше не смогу плавать из-за ишиаса. Это было жестоким приговором.

Но скоро пришла телеграмма от Кнуда, и все изменилось. Во время моего пребывания в Дании мы построили свой собственный корабль — «Секонген», — крепкое небольшое суденышко, специально сконструированное для плавания во льдах и экспедиций.

Нашим кораблем командовал капитан Педерсен, и мы получили от него известие, что корабль попал в шторм, бушприт сломался и пришлось зайти в Норвегию чиниться. Еще через несколько времени между Норвегией и Шотландией он потерял утлегарь и должен был встать в шотландские доки, тратя драгоценные для нас дни. Вряд ли он, а с ним и Наварана, смогут добраться до Тассиусака раньше осени, а тогда придется организовать доставку припасов оттуда в Тулэ, на санях, уже зимой.

Кроме того, Лауге Кох отправлялся на север со своей отдельной экспедицией и собирался работать в районе Тулэ. Так как корабль у него был маленький, мы согласились перевезти часть его запасов и пожертвовали частью своих грузов, чтобы выручить его.

И Кнуду Расмуссену, и мне было необходимо присутствовать там; в этом не могло быть сомнений. На следующий день из Копенгагена отходил пароход в Упернивик — последний в этом году. Смогу ли я поехать? — спрашивал Кнуд в своей телеграмме.

Я даже не заехал попрощаться с моей матерью — она наверно сказала бы, что для меня эта поездка — самоубийство. В течение четырех часов я закупил все, что мне было необходимо, и на следующий день мы с Кнудом уже снова находились на пути в Арктику.

Когда мы прибыли в Упернивик, нам сообщили, что лед на севере хуже, чем всегда. Через несколько дней появился Лауге Кох на своей шхуне, снаряженной для него датским правительством, и я пошел на его судно в качестве лоцмана, через бухту Мельвиля.

Я был очень плохим помощником. Из-за слабости и боли в ноге мне было трудно даже стоять у штурвала. На меня часто нападало отчаяние, но раз я уже попал в такой переplet, жаловаться не приходилось.

Начался шторм, и вокруг нас стали накопляться торошенные льды. Я поставил всю команду на работу, мы толкали и тянули, всеми силами пытаюсь спасти наше маленькое судно. Во время шторма я упал в воду, и моя одежда промокла. Когда мы прошли сквозь самый скверный лед, снег все еще неумолимо падал, и мне пришлось просидеть на наблюдательной вышке целые сутки в насквозь мокрым платье.

Когда снова выглянуло солнце, и мы смогли отдохнуть, мой ишиас бесследно исчез. Всем, чего доктор велел мне бояться, как смертного приговора, я пренебрег. С того самого дня я ни разу не чувствовал даже покалывания в ноге.

★

...Глубокой осенью я снова приехал в Копенгаген. Мы стали деятельно готовиться к нашей новой экспедиции к заливу Гудзона и американским эскимосам. Наш старый друг, капитан Педерсен, должен был доставить нас туда — на этого человека можно было всегда надеяться. Два молодых научных работника — доктор Биркет Смит и доктор Теркель Матассен должны были сопровождать нас в качестве этнологов, а, кроме того, нашим помощником ехал молодой писатель Хельге Бангстед.

Возможность соединить антропологические изыскания с заработком была предложена нам нашим приятелем, Шнедлер-Соренсеном: он предложил финансировать съемку приключенческого и видового фильма. Было решено, что я поеду раньше остальных участников экспедиции, с Шнедлер-Соренсеном и одним актером, и мы заснимем фильм, который мы давно собирались сделать.

В мае я снова выехал в Гренландию — на этот раз в качестве кинорежиссера, актера — словом, кого угодно. Мы засняли несколько сцен в пути и еще несколько в Ивигтуте. Оттуда мы направились на нефтяном танкере в Джулианехааб, где я организовал массовые танцы, в которых и я сам принял участие и заставил всю колонию служить нам статистами. Мы засняли все, включая и фермеров-эскимосов, не пропустив ничего, что могло бы предста-

вить хоть малейший интерес, прежде чем вернуться в Ивигтут,— чудесный городок,— настоящий кусочек Дании, пересаженный на север.

В тот год — тысяча девятьсот двадцать первый — исполнилось двести лет со дня прибытия на север Ганса Эгедэ — «апостола Гренландии»: он первый принес христианскую веру язычникам-эскимосам. Большое торжество в честь этого события состоялось в Годмаабе — столице Гренландии — и даже датский король почтил присутствие своим присутствием.

★

...После празднества мы ушли на «Секонгене». Мы стали на якорь в Якобсхавене, где родился Кнуд, и там запасали корм для собак и другие припасы для экспедиции на Гудзонов залив. И там же нам сообщили такие потрясающие новости, каких мы давно не слыхивали в Арктике.

Большой пассажирский пароход «Беле», предназначенный для перевозки многочисленных датских туристов на юбилей в Гренландию, потерпел крушение к югу от Упернивика.

Мы собирались снабдить нашу факторию в Тулэ товарами, но меньшей мере, на год, и большей частью эти товары находились на «Беле». Мы не знали, что нам делать, и направились в колонию Уманак.

Наварана уже была там. Она приехала на санях и привезла с собой всю меховую одежду, сшитую для экспедиции. Но чувствовала она себя плохо. Она, очевидно, заразилась гриппом, завезенным на север кораблем, заходившим в Уманак, и была настолько больна, что даже не могла принять участие в вечеринках, спешно организованных для нас. Она сразу перешла на «Секонген» и легла в постель.

★

...Мы держали курс на место крушения «Беле». Инспектор Северной Гренландии понимал, что остов корабля может быть ежеминутно смыт водой, и поэтому он разрешил нам взломать палубу и попытаться снасти, что только можно, из нашего груза.

После того, как мы все, что могли, раздобыли с «Беле», и я много раз нырял в воду, чтобы вытащить необходимые научные приборы, мы опять ушли в Упернивик.

Наварана все еще была очень больна. Ей трудно было ходить, и мы перенесли ее в челноке из гавани в дом помощника заведующего, где мы спали одетыми,— сто-

яло лето, и можно было прилечь поспать, где кому было удобнее.

Теперь окончательно выяснилось, что у Навараны «испанка», та же болезнь, от которой я так пострадал год назад. Я не отходил от нее. Наварана была благодарна судьбе, что я мог быть с ней, хотя ее мучило беспокойство за наших детей. Ей очень хотелось, чтобы я съездил в Тулэ и присмотрел, как там заботятся о Мекусаке.

— Вот теперь оба наши ребенка далеко от нас,— говорила она и все просила рассказать ей о крошке Пшалук — как она живет? Что она уже говорит? Спрашивает ли она когда-нибудь про свою мать?

На следующий день Наваране стало хуже. В то время в Упернивке не было доктора, и мы ничего не могли для нее сделать. Вечером она спросила меня, что же это с ней такое. По ее словам, у нее в голове жужжали какие-то мысли, приходившие неизвестно откуда. Странно было сидеть так беспомощно и смотреть, как она угасает.

Она взяла меня за руку и сказала, что она счастлива, что у нее такой муж, который всегда разговаривает с ней, как с равной. И, наконец, она сказала, что ей очень хочется спать.

Я вышел на кухню — вскипятить ей чаю. Я сидел и смотрел на воду и чувствовал, как я люблю Наварану, и как она выросла за время нашего брака.

Наварана лежала так тихо, что я на цыпочках подошел взглянуть на нее. И пока я смотрел, ее губы вдруг чуть-чуть вздрогнули,— и все. Она умерла.

Я не мог поверить. Я как-то никогда не думал, что ее болезнь серьезней обычной простуды, но я позвал в комнату молодого помощника заведующего, и он подтвердил то, что я видел перед собой.

Моя дорогая маленькая жена умерла. Я сидел, как каменный. Впервые в жизни я видел смерть близкого мне человека. Моя прошлая жизнь была счастливой и беззаботной — и вдруг я оказался отцом двух осиротевших детей.

Я вырвал Наварану из ее привычной жизни, привычного уклада. Я надеялся, что она была вознаграждена за то, что она потеряла. Но кто знает? Она была самой стойкой маленькой женщиной на свете, и никогда не стала бы жаловаться на то, что ей пришлось испытать.

Мои друзья занялись гробом и устройством похорон. Я почти не сознавал, что

происходит, и потерял всякий интерес к окружающему. Но вскоре случилась такая вещь, которая сразу встряхнула меня.

Уперниевский священник пришел ко мне и заявил, что Наварану, как язычницу, нельзя хоронить на кладбище. На ее похоронах не будут звонить колокола, и он очень сожалеет, но проповеди он тоже не скажет.

Для меня было облегчением то бешенство, которое я испытал. Я крикнул, что он может убираться к чертям со своими колоколами и проповедями, но моя жена будет лежать на кладбище, а не где попало. Он сказал, что давно предупреждал свою паству об ужасных последствиях, которые влечет за собой смерть без крещения, а тут был подходящий случай показать им пример.

Я рад, что не избил его. У меня хватило выдержки просто велеть ему убираться и предоставить мне самому все сделать.

Никогда я не видел более грустных похорон. Рабочие колонии несли гроб, и меня предупредили, что каждому за это полагается одна крона. Помню, как я сердился на кузнеца за то, что он курил сигару во время процессии — если только можно сказать «процессия» о четырех человеках.

Я заказал простой и красивый надгробный камень для могилы, — он стоит на высокой скале.

Я слишком хорошо понимал, что под этим камнем лежит частица моей жизни, за которую я всегда буду благодарен судьбе. Я низко склоняю голову перед ней.

С такими печальными вестями я встретил Кнуда, вернувшегося из Тулэ. Он обожал веселую, деятельную маленькую Наварану. Она оставила на память о себе одежду, заготовленную ею для экспедиции. Мы всегда так рассчитывали на нее — во многом, в очень многом... Вдвоем мы поднялись еще раз на ее могилку, простились с ней в последний раз, и ушли в путь, к новым страницам нашей жизни.

★

...Осень 1922 года мы провели в разъездах среди эскимосов и в перевозке наших коллекций в бухту Рипалз, откуда их должна была забрать шхуна в начале 1923 года.

Мы собирались пробыть в Канаде до 1924 года, обойдя как можно больше и сделав возможно более точные наблюдения. Доктор Биркет-Смит и Якоб должны были проехать к югу, в порт Нельсон, в Мани-

тобе, и потом вернуться по реке Нельсон на санях и в лодке. Доктор Маттассен должен был идти на север, к заливу Понд, в северной части Баффиновой земли, и остаться там на следующее лето для раскопок. Кнуд Расмуссен собрался идти на запад на санях, вдоль северного берега Америки, в Аляску, Бангстед уезжал домой из южной части Гудзонова пролива, а мне хотелось попытаться пройти через материк и море, вместе с двумя семьями гренландских эскимосов, через Баффинову землю, Северный Дэвоп, Землю Эльсмира и через залив — в Иту, и домой.

Но до этого я наметил обширную разведку местности и съемку северной части Гудзонова залива, к востоку от Игдлулика, вдоль берегов Баффиновой земли. Со мной шел Хельге Бангстед в качестве помощника, и Акриок в качестве проводника. Других местных проводников и охотников мы собирались прихватить по пути.

Мы выехали сразу после 1 января 1923 года, в страшный мороз: температура все время держалась около шестидесяти градусов ниже нуля. К несчастью, у нас не было концентрированного корма для собак, необходимого в таком путешествии, и наши сани были перегружены. Кожа на наших лицах стала очень мягкой за время рождественского отдыха, и северный ветер жег нас, как огонь. Этот ветер дует не переставая в течение всех зимних месяцев.

Примерно через неделю после ухода из лагеря мы дошли до такого места, где нам пришлось перейти с морского льда на сушу. Снег был рыхлый, и много миль кряду мы жестоко хлестали наших собак. И люди и собаки напрягали все свои силы, но мы видели, что груз все равно слишком тяжел и нам придется частично его оставить и потом вернуться за ним.

Мы припрятали часть грузов и скоро попали на плотный наст, только слегка припорошенный свежавывавшим снегом, и нам удалось пройти довольно значительное расстояние. Я злился на задержку, которую вызовет возвращение за брошенным грузом, и я решил сам вернуться за ним, пока ребята будут строить иглу на стоянке. Я считал, что успею вернуться к утру, пока они будут спать, и таким образом наверстаю потерянный день.

Мои собаки не очень обрадовались необходимости снова ехать, когда они собирались поспать. Они заслужили отдых, но хотя я сам тоже страшно устал, я оказал-

ся упрямей своих собак, и мы двинулись в путь.

Я быстро проехал до наших грузов, взвалил ящики на сани, но когда я повернул, ветер стал дуть сильнее, завывая, как дьявол. Сугробы сметало у меня под ногами и я не мог идти по следам. Ветер превратился в бурю, а буря во вьюгу.

Я заблудился; определить направление было невозможно. К счастью, местность была ровная, так что опасность провала в овраг была исключена. К тому же направление ветра было более или менее постоянным, чем я и мог до известной степени руководствоваться.

Вьюга слепила меня, и несколько раз я останавливался, исследуя снег, думая о постройке иглу. Но снег слежался слишком плотно. Каждый раз после остановки я с трудом подымал на ноги усталых собак.

И все-таки я шел вперед. С каждой минутой я уставал все больше, но собаки хорошо понимали меня. Я снова сбросил весь свой груз, оставив себе только спальный мешок с запасными камиками и небольшую медвежью шкуру. Я шел впереди, и собаки следовали за мной. Без груза, думал я, наверное можно будет добраться до лагеря.

То и дело мне приходилось останавливаться и поворачиваться спиной к ветру, чтобы перевести дыхание. Буря бешевала такой силой, что я едва держался на ногах и, в конце концов, мне пришлось подойти к саням и держаться за поручни. Я не мог даже взмахнуть кнутом против ветра, и собаки отказывались сойти с места.

Я рассчитал, что я, вероятно, уже нахожусь недалеко от остальных, и решил, что мне лучше остановиться, чем рисковать пройти мимо них. Я очень проголодался, и когда я дошел до большой скалы, за которой ветер вырыл ложбинку, я остановился. Собаки немедленно забрались в углубление и через минуту были занесены снегом.

Я пробовал вырубить снежные глыбы своим ножом, но снег слежался до твердости льда и резать его было труднее, чем дерево или землю. Нечего было и думать о постройке иглу,—и я просто сел на снег. Но долго сидеть было страшно неудобно, и я снова встал. Потом я попробовал старый трюк: закрыл глаза, прошел двадцать шагов вперед, потом повернул направо, снова прошел двадцать шагов, проделал это два раза, а потом открыл глаза,

чтобы посмотреть, далеко ли я ушел от исходной точки... Часами я повторял эти упражнения, борясь на ходу с ветром, но скоро так устал, что не мог держаться на ногах.

И тут меня охватила непреодолимая сонливость. Меня даже мутило от усталости, и я решил, что если выкопать под санями нечто вроде могилы, то там можно найти защиту от вьюги. Я сдвинул сани, выдолбил углубление на том месте, где они стояли, подложив кусок медвежьей шкуры в эту яму вместо подушки, затем снова поставил сани над своей могилкой и влез туда, таща за собой мешок с камиками, чтобы он закрыл меня вместо двери.

В этом углублении я только-только мог поместиться лежа, и я сейчас же заснул.

Приятно было укрыться от ветра и метели, но через некоторое время я проснулся, почувствовав что-то неладное. Несколько минут я не мог понять, в чем дело, но потом сообразил, что моя левая нога совсем онемела.

Это — скверная штука. Пока замерзающая конечность болезненна, она сравнительно в безопасности, но, когда она теряет чувствительность — берегись!

Первой моей мыслью было: надо вылезти и пробежаться, чтобы восстановить кровообращение. Я попытался столкнуть мешок, лежавший у меня в ногах, но на него намело столько снега, что я не смог даже сдвинуть его с места. Я перепугался и стал молотить ногами и руками, пока не стало немножко теплее и удобнее.

Обдумывая свое положение более спокойно, я решил, что ничего не добьюсь, расходуя свои силы так истерически бессмысленно. Чтобы вылезти из этой могилы, надо было снести всю надстройку. И я снова уснул.

Когда я проснулся во второй раз, я еще сильнее почувствовал холод. Надо было вылезать или замерзнуть, как камень. Я никак не мог сдвинуть мешок, а в таком узком пространстве нельзя было согнуться и потянуть его кверху. Затем я попробовал перевернуться и поднять сани, стоявшие надо мной, но, очевидно, они были придавлены большим снежным сугробом. Я был заживо погребен.

Всем существом протестуя против этого, я пытался придумать какой-нибудь выход. Безнадежность моего положения становилась все яснее и яснее. Снег затвердел так, что его невозможно было копать руками, да еще в рукавицах. Я открыл свои

часы (в карманах нижней одежды у меня их было две пары) и определил время. Была середина дня, но я находился в полной темноте.

Я решил пожертвовать одной из своих рук, отморозить ее и потом, как лопаткой, прорыть ею выход. Мне было очень жаль себя, — обе руки еще здорово могли бы мне пригодиться.

Но все это была просто чепуха. Я сразу увидел, что рукой, даже замороженной, нельзя пользоваться, как инструментом. Она все равно будет гнуться и легко ломаться. Пришлось отказаться от этой мысли и приложить обмерзшую руку к телу, чтобы она отошла.

Тогда я решил пустить в ход свои мозги. Первое, что я придумал — это опорожнить кишечник и сделать долото из экскрементов, которые, конечно, сразу замерзнут, и попробовать этим долотом продолбить снег. Но сначала я решил вытащить медвежью шкуру из-под головы и попробовать копать ею.

Я пожевал край шкуры и она сразу замерзла и стала твердой, как стекло. Острым концом можно было копать. Помню, как время от времени я брал край шкуры в рот, смачивал его слюной и снова давал ему застыть.

Я лежал с закрытыми глазами и копал. Когда человек находится в темноте, ему как-то приятнее лежать, закрыв глаза — тогда он, по крайней мере, ничего не видел бы, если бы даже было светло. Я продвигался, но как бесконечно медленно шло это продвижение!

Одет я был, как эскимосы, в два слоя шкур: нижний, ближе к телу, мехом внутрь, и верхний — мехом наружу. На мне не было пояса, и одежда свисала свободно, чтобы я не потел. Главное, всегда быть сухим, хотя бы за счет теплоты: от этого не только одежда сохраняется лучше, но и человек, становясь старше, оберегает себя от ревматизма.

Но тут от моих движений в яме моя одежда задралась и снег, который я считал, попадал мне на голое тело. И все-таки я продолжал копать и через некоторое время проделал отверстие наружу.

Нетерпение охватило меня, когда я почувствовал, что дело идет на лад. Я не забывал, что моя нога отморожена, и, как только отверстие стало чуть побольше, я не удержался от искушения и попытался пролезть в него. Мне пришлось согнуться в три погибели, чтобы просунуть голову в

отверстие, но я как-то изловчился и просунул голову наружу. Но дырка оказалась слишком узкой и моя голова застряла на полдороге.

К несчастью, моя борода оказалась прямо под широким обмерзшим полозом саней, и так как около рта всегда скопляется влага, то борода сразу примерзла к полозу, и я не мог двинуться ни назад ни вперед. Я так скрючился в своей могиле, что не мог даже пошевелиться. Над собой я видел небо, чувствовал снег, но я был пойман, как лисица в западню и понял, что это — конец.

Как долго я пробыл в таком судорожном скрюченном положении, я и не помню. Возможно, что я потерял сознание. Снег засыпал верхнюю часть моего лица, набился в глаза и в нос, так что дышать было невозможно. Воздух был сплошной жгучей массой летящего снега и, вдыхая его, я чувствовал, что долго мне этого не выдержать.

Внезапно я так разозлился, что сделал последнее усилие и протиснул голову обратно в отверстие.

Я почувствовал невыразимое облегчение. В могилке было даже уютно. Я вытер глаза, смахнул снег и стал растирать лицо — оно было сильно обморожено. Тут я почувствовал, как что-то липкое и теплое потекло по шее. Это была кровь. Я вырвал клоч борода и сорвал кожу. Я высунул руку, и, дотронувшись до санного полоза, нащупал свои волосы, крепко примерзшие к нему. Тут только я почувствовал боль. С тех пор у меня на этом месте борода не растет так густо, как раньше.

Но лежать без дела было некогда. С каждой минутой голод становился все сильнее, — опять стало темно, и я снова начал откапывать себя куском замерзшей медвежьей шкуры.

Работая с нервным напряжением, я вскоре прорыл дырку, через которую, как мне казалось, я смогу вылезть. Я был возбужден, как молодая актриса перед дебютом, — ведь от этого зависела моя жизнь — и я протиснул голову в отверстие. Снег сразу запорошил мне глаза и я опять застрял, теперь уже у плеч.

Я слышал, что, погибая, человек способен на сверхчеловеческие усилия, чтобы спастись. Я сделал выдох и еще дальше протискался в отверстие. Но недостаток воздуха пересилил, и я вдохнул изо всей силы, расширяя грудную клетку как можно больше. Было очень больно, но я чувство-

вал, как сани слегка поддались надо мной и я продвинулся вперед, повторил тот же прием — и на этот раз сани заметно сдвинулись.

Дюйм за дюймом я проталкивался вперед, пока не высвободил свою правую руку. Я сделал последнее отчаянное усилие и вылез.

И прямо перед собой на санях, засыпанных снегом, я увидел свой нож для снега, торчащий кверху. Если бы я догадался взять его с собой, в свою нору, ничего бы со мной не случилось...

★

...Настал день, когда наш маленький корабль, наш «Секонген» обогнул мыс. Для меня это зрелище было прекраснее всего на свете. Полисмены с поста нарядились в красные мундиры, чтобы проделать все таможенные формальности. Но капитан Педерсен был старым специалистом по преодолению всякой волокиты в Арктике. Он извлек несколько бутылочек и наполнил стаканы.

Через четыре часа мы были готовы к отплытию. Мы преподнесли констеблям канадской полиции пару бутылочек запрещенного зелья, чтоб они сами попробовали, какая это ужасающая гадость, потом нам пришлось позаботиться об их благополучной доставке на берег. Некоторые из них даже уснули.

Мы взяли курс на Гренландию, но в Баффиновом заливе нас встретила очень неблагоприятная погода. Невозможно было пробраться даже до мыса Йорк, не говоря уже о Тулэ.

Мы благополучно дошли до мыса Седдон, но я был очень огорчен. Мой сынни-

ка Мекусак все еще жил в Тулэ, и мне приходилось возвращаться в Данию без него. Единственным утешением было то, что все рассказывали, какой он здоровяк. Я должен был приехать за ним потом. С тех пор он всегда половину времени проводит в Гренландии, а половину со мной, на моей ферме в Дании, и в школе.

В Уперниевике мы встретили пароход «Ганс Эгед». Я пересел на это более быстроходное судно, и там все старались устроить меня как можно лучше. На меня смотрели, как на восставшего из мертвых. Распространились слухи, что нашли мой труп, но крушение «Беле», которое мы видели перед самым отъездом из Гренландии несколько лет назад, послужило толчком к постройке множества радиостанций в Гренландии, и я смог послать домой весточку о моем благополучном возвращении.

Долго и скучно идти по Атлантическому океану на маленьком корабле. Я даже собирался выучиться играть в карты во время этого путешествия. Но этого я, слава богу, избежал, а потом у меня не было времени научиться.

Но все приходит к концу, и настал день, когда мы прошли старый замок Кронборг, где жил когда-то Гамлет. Через два часа мы прибыли в Копенгаген. Капитан поднял все свои флаги и поставил меня на свой мостик.

Нас встречала огромная толпа. Я увидел моего отца, мою матушку и маленькую Пипалук. Только она стала совсем большой шестилетней девочкой, и я никогда не узнал бы ее. Десятки журналистов налегли на меня сразу — и мне пришлось рассказать им всю свою историю, прежде чем сойти на берег.